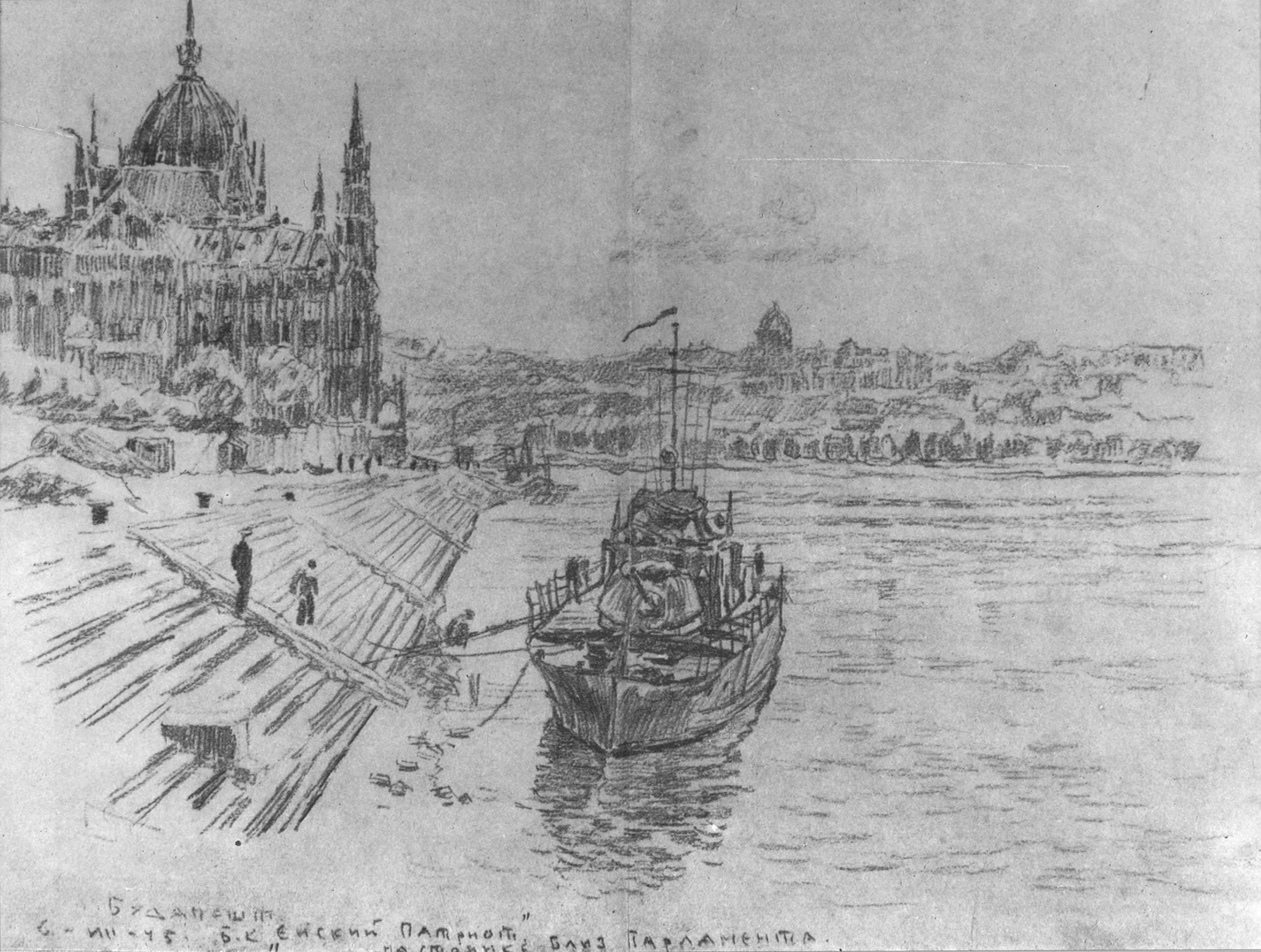
К. Г. Дорохов

ЗАПИСКИ ХУДОЖНИКА




Будапешт.
6-III-45. Б.К. "Енский патриот" близ Парламента.
на стоянке

«Советский художник»
Москва
1974



К. Г. Дорохов

ЗАПИСКИ ХУДОЖНИКА

75С2
Д-69

Составитель А. В. ДОРОХОВА

Д $\frac{80102\text{-}158}{084(02)\text{-}74}$ 32-74

ХУДОЖНИК КОНСТАНТИН ГАВРИЛОВИЧ ДОРОХОВ

Творчество К. Г. Дорохова рождает много мыслей. За его скромными неброскими работами лежит большая жизнь художника. Я вспоминаю его посмертную выставку, состоявшуюся в 1964 году. Она заставила каждого из нас, кто прожил свою жизнь рядом с Дороховым, обернуться назад — на свой творческий путь.

Надо сказать, что к счастью для поколения художников 30-х годов их жизнь органически связана с жизнью страны, с народом. Дорохов не засиживался в мастерской, не замыкался в кругу излюбленных тем. Возьмем ли мы 30-е годы — поездку в Донбасс, или 40-е годы — годы войны, или конец 40-х годов — поездки по стране, или 50-е — поездки в колхозы, — каждый раз художник не ищет тем на стороне, он живет вместе со всей страной. В этом отношении ему можно позавидовать.

Он прошел свой путь художника честно, бескомпромиссно. Он никогда не искал легких, простых путей, не искал обходных дорог и не приспосабливался.

Чем привлекательно творчество Дорохова? Оно не претендует на эффект, в нем нет броскости, но есть глубокая человечность: за всем его творчеством лежит жизненный опыт, и это делает каждую его самую скромную вещь — вплоть до небольшого этюда — содержательной.

Глубокая человечность, правдивость, отсутствие позы и в то же время бесстрашие, смелость — эти качества были присущи ему и в творчестве, и в жизни. Он никогда не говорил, как он вел себя на фронте, но мы догадывались, и подтверждение его смелости и бесстрашия находим мы в рассказах его товарищей. Все это целиком укладывается в ту жизнь, которую прожил К. Г. Дорохов.

Нужно сказать, становление Дорохова как художника протекало с большой последовательностью. Он быстро нашел себя. Он был предельно искренен, и это позволило ему сделать серьезный вклад в советское искусство. И здесь высшим достижением, я считаю, был портрет «Ненецкой девушки», читающей книгу.

Я помню довоенную выставку молодых художников в Третьяковской галерее — хазановскую «Скрипачку», «Балерину Тихомирнову» Дорохова, целый ряд произведений художников, которые потом с таким блеском развернули свою творческую жизнь, там была и ромадинская «Балерина» (портрет О. В. Лепешинской) — много других обещающих заявок. Особую ценность в наше время приобретают работы Дорохова, созданные им в годы войны. Его военные этюды — это драгоценные художественные документы, работы большого творческого накала.

После войны Дорохов испытывал подлинный творческий подъем. Его картины сделаны очень напряженно по цве-

ту, очень энергично. Он — типично русский живописец, для него цвет — всегда в пространстве и в тоне. Используя опыт импрессионистов, он шел всегда от традиций русской школы, русских импрессионистов.

Я считаю, что последние работы (серия «Овощи», «Шахтеры») — это лучшие его произведения, и к концу 1950-х годов он создавал вещи наибольшего эмоционального наполнения. Он вернулся к своей прежней линии, но с новыми мыслями: раньше он шел от натюрморта и человека, а в последние годы пришел к композиционным портретам, к сложным жанровым портретным композициям.

Биография Дорохова — она им изложена в «Записках художника» — на редкость прямая, на редкость творческая биография, которой можно только позавидовать. Это человек, у которого человеческое, личное никогда не расходилось с его творчеством. В этом таится залог того, что его картины будут жить, потому что искусство не терпит неискренности: все, что делается на потребу временным соображениям,— умирает, а то, что делается по внутренним побуждениям,— остается жить.

И те работы, которые оставил нам К. Дорохов, наполнены глубокой человечностью, чисто русским дарованием.

Д. А. ШМАРИНОВ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Свои «Записки» Константин Гаврилович Дорохов начал писать в последние годы жизни, основываясь на собственных статьях, письмах, дневниковых записях и заметках на полях рабочих альбомов. Острый интерес художника к окружающему его миру не оставлял Дорохова равнодушным к происходящим вокруг него событиям.

«Записки» делятся на 4 основные части. Воспоминания о Смоленске связаны с родиной Дорохова, его детством и первыми шагами в изобразительном искусстве; глава «Вхутемас—Вхутеин» посвящена студенческим годам художника, годам, когда формировалось будущее мастерство целого поколения советских художников; воспоминания о послеинститутском периоде — рассказ о времени становления творчества художника; наконец «Годы военные» — глава, в которой Дорохов, активный участник многих событий этого незабываемого времени, рассказывает о себе и своих товарищах-художниках, вместе с ним прошедших суровый путь войны. Документальные серии военных этюдов и рисунков Дорохова «По дорогам войны» с заметками на полях являются ценным материалом — дневником художника, положенным в основу повествования о войне.

На этом записки заканчиваются. Внезапная смерть художника не позволила ему завершить задуманные по опре-

деленному плану воспоминания.

В архиве Дорохова остались многочисленные заметки, статьи, дневники и тексты сатирических выступлений художников, которыми руководил Дорохов. Во всех этих документах остро проявляется отношение автора к событиям художественной жизни послевоенного периода.

Некоторые страницы «Записок» остались незавершенными, но и в таком виде воспоминания Дорохова представляют интерес. Публикацией этих записок мне хотелось напомнить о человеке, бескорыстно отдававшем всю свою жизнь любимому искусству и людям.

А. В. ДОРОХОВА

ГЛАВА I

СМОЛЕНСК

Детство

Город Смоленск — моя родина.

Детство и юность я провел в Заднепровье — части города более позднего происхождения. В этом районе жили рабочие немногочисленных смоленских предприятий, ремесленники, служащие.

В основной части города, или, как принято было говорить, на горе (хотя Смоленск расположен на нескольких холмах), жили чиновники, дворяне — более привилегированная часть жителей. Самой аристократической частью города считалась офицерская слобода.

Начал я учиться в городском Училище имени Корниевской, известной в то время деятельницы народного просвещения, крупного педагога и воспитателя.

Училище находилось на Базарной площади, неподалеку от дома купца Ланина, в котором жила моя семья. Метрах в сорока от этого дома проходила железная дорога — любимое место прогулок для нас, как и для прочих смоленских обывателей.

Воспоминания детства связаны с гудками маневровых паровозов, с грохотом проходящих составов. А в базарные дни — в среду и субботу — с раннего утра доносились с улицы ржание

лошадей, визг поросят и прочий шум, вызванный приездом на рынок крестьян.

Возле дома, где я жил, пролегала дорога, рассекавшая город на две неравные части. Вела она на Базарную площадь. Мимо моих окон, в сопровождении солдат и конвоиров, звеня цепями, проходили арестанты, направлявшиеся из заднепровской тюрьмы в окружной суд. Арестанты одеты в длинные брюки и тужурки, на голове — шапки-бескозырки, все это было сделано из грубого солдатского сукна. Исхудалые, заросшие бородами, с землистым цветом лица. Их мне доводилось видеть не только на улице, но и в Александро-Невской церкви, находящейся близ тюрьмы. Сюда заключенных приводили во время больших праздников и богослужений. Располагались они в церкви на балконе, опоясывавшем храм изнутри, отделенные балюстрадой и конвойной командой от остальных молящихся. Возгласы священника, монотонное чтение дьячка и церковное песнопение звучали на фоне звона кандальных цепей, придавая богослужению особый характер.

Однажды мне пришлось видеть, как в тюрьму в открытых санях, зимой, везли, как видно, важного государственного преступника, возможно политического. Охрана была необычной — по бокам сидели два жандарма, причем с обнаженными палашами.

Такой шумной и оживленной делали нашу улицу не только близость рынка и торговой части города. Очень часто мимо проходили воинские команды с музыкой, с лихими солдатскими песнями, проходили на стрельбище, помещавшееся на Покровской горе. Туда же весной весь Смоленский гарнизон переходил в летние лагеря.

Множество солдатских песен, лихих и тоскливых, слышал и знал я в ту пору. Мальчишками мы часто провожали войска почти до самого стрельбища.

Детство прошло на Днепре, близ рынков, постоялых дворов и у полотна железной дороги. Наиболее яркие воспоминания связаны с войной 1914 года, когда вся наша улица была запружена новобранцами, прибывшими к зданию воинского начальника. Подвыпившие новобранцы, грозные унтера, плач провожающих.

Последние телеграммы передают сводки о военных действиях. Газеты полны белых пятен — следы цензуры. Через переезд день и ночь идут эшелоны с войсками в сторону Минска, на Западный фронт. Едут в теплушках с песнями, с лихой пляской. На открытых платформах, вытянув хоботы, стоят орудия. Обратно, в тыл, идут бесконечные составы с ранеными. Общественные здания, половина школ превращены в лазареты.

Запасные пути. Длинный состав с военнопленными. Австрийцы приветливы, плен им не в тягость. Немцы забились в глубь вагона, надменно, с ненавистью глядят на любопытных.

В один прекрасный день город поголубел. Улицы, железнодорожные пути — все заполнено австрийцами. Здесь же много чехов, словаков, сербов. Они не пожелали драться, сдались в плен.

В городе исчезают продукты. Эшелоны, идущие на фронт, полны пожилых.

Первым художником, которого я узнал, был учитель рисования нашей гимназии В. Мушкетов, окончивший Академию художеств на год раньше И. Бродского. Что-то в нем было крайне нерасполагающее. В Смоленской городской библиотеке висела его картина «Новатор» — единственная серьезная вещь, написанная им после Академии.

На уроке рисования было дано задание на тему «Кем я хочу быть». Хазанов, маленького роста, смешливый и живой, непременно хотел быть летчиком и нарисовал момент воздушного боя, где поверженный враг в клубах дыма и пламени падает на землю.

Никитин, мрачный и озлобленный, видимо в силу своих физических недостатков — он был горбун, ходил на двух костылях, — нарисовал себя в качестве инженера-изобретателя ядовитых газов.

Крылов, сын помещика, аккуратный, сытый блондинчик, желал обязательно быть помещиком, каковым себя и изобразил во дворе усадьбы своего отца.

Я мечтал стать художником и нарисовал себя перед мольбертом с кистью в руках. Причем я сделал себя брюнетом и с лихо, стрелкой стоящими усами.

Не знаю, что у меня в этом рисунке было хорошего, только Мушкетов поставил мне пять, в то время как выше четырех никто у него до сих пор не получал.

В эти годы рисовать с натуры я еще не пробовал — срисовывал из журналов либо делал от себя бесконечные сценки боев — шла война 1914 года.

А еще раньше я любил рисовать с фотографий царя, царевича, царевен. На сильно ретушированных портретах царь был красавцем с каштановыми волосами. Помню, это было в 1913 году, на нашей улице все приведено в порядок, фасады украшены эмблемами Николая II, обилие трехцветных флагов, и на участке Александровской железной дороги, выходящей на Ново-Петербургскую улицу, выстроена специальная платформа, куда должен подъехать царский поезд.

Еще до свету солдаты Нервского, Капорского и Софийского полков (так бесславно попавшие в Восточной Пруссии под командой генерала Самсонова в окружение вместе со всем оружием и знаменами) тесным строем, в парадной форме оцепляют с двух сторон улицы.

Я сижу на окне магазина Ланина, мне все видно, все мы ждем прихода поезда и приезда царя.

Наконец, пыхтя и отдуваясь, к перрону подходит поезд.

Царь и царица с царевнами и цесаревичем усаживаются в открытую карету, которая повезет их в город, в Дворянское собрание.

Горьким разочарованием была для меня внешность царя — он оказался совсем не таким, каким его изображали на портретах и фотографиях. Даже написанный В. А. Серовым портрет и тот значительно приукрашен, применяя сегодняшний термин, подлакирован.

Невысокого роста, хилый, с рыжими усами и бородой, с нездоровым цветом лица, с большими мешками под глазами и, что самое неприятное, очень курнос.

Всем своим обликом он напоминал мне городового, которого я видел по утрам у Днепровского моста, на пути в школу.

Срисовывать портреты царя мне уже больше не хотелось.

В смоленском Пролеткульте

Смоленск в 1919—1920-х годах был полон творческой жизни.

В городе работает ряд театров. Открылись студии: драматическая, литературная, несколько студий изобразительного искусства. Организатор и руководитель всех культурных мероприятий — Пролеткульт.

В городе помещаются штаб и политотдел Западного фронта — масса военных, приезжих.

Много художников, которых голод загнал в Смоленск из Москвы и Петрограда.

Первоначально студия Изопролеткульта помещалась во Дворце труда (бывшее здание Благородного собрания).

Одной из ярких фигур среди руководителей студии был талантливый директор П. З. Лаленков — высокий, внешне похожий на англичанина, в клетчатом широком пальто. Он вел некоторое время рисунок, но уделял внимание более подготовленным, мы, мальчишки, были вне поля его зрения. Лаленкова сменили Б. Рыбченков, Н. Яблонский и несколько позже — В. Штраних. Рыбченков — ученик Киевского художественного училища, вел живопись. Принял он меня в студию, главным образом, на основании моего желания. Для показа у меня, кроме иллюстраций к «Золотой рыбке», ничего не было. Мне выдали сразу же подрамник, холст, клей и мел. Возвращался с занятий грязный, измазанный мелом, как маляр, что в ту пору казалось мне естественным и рождало чувство гордости.

Красок в тюбиках нет, с красками плохо. Сами трем клеевые краски на скверной олифе, запах которой, тем не менее, мне кажется чудесным. До сих пор аромат олифы для меня — один из самых приятных.

В первые же дни побывал у Рыбченкова, он живет в доме родителей на живописном берегу Днепра. Поразили меня его этюды, сделанные под Поля Синьяка, ведь Синьяка я никогда не видел и даже не слышал о нем. И особенно поразила меня вещь, чем-то напоминающая абстракционистов, под интригующим названием «В поисках самого себя». Впрочем, в ту пору это не было редкостью.

С Рыбченковым у меня связаны воспоминания о первых вылазках на этюды. Смоленск, перерезанный Днепром, щедро одетый в зеленый наряд и насчитывающий большое количество памятников архитектуры, неисчерпаем привлекательными для изображения мотивами. Крепостные стены, крутые горы и глубокие рвы, тающие вдали днепровские берега — все это стало раскрываться мне после первого же этюда.

Раскопки в окрестностях Смоленска, на местах древних стоянок смолян в Гнездове, имение Глуховского-Такезова, крепостные стены и рвы, — где мы только не побывали в те дни.

Смоленская крепостная стена тогда еще не была так сильно разрушена и являлась величественным памятником старины. Строил ее по приказу Бориса Годунова Федор Конь. Королевский бастион напоминает о борьбе с польскими интервентами, мемориальная доска на стене со стороны Краснинского большака рассказывает о славе русского оружия в Отечественной войне 1812 года.

С утра и до вечера готовы мы бродить по Смоленску и его окрестностям, забираясь на колокольни и башни. И мне казалось, что, родившись в Смоленске, можно и должно стать либо художником, либо археологом.

Рисунок и чистописание в студии преподавал художник Н. А. Яблонский — высокий, худощавый, с аккуратно подстриженной бородкой, в очках, всегда спокойный, сдержанный, в неизменной черной шляпе и темном костюме. Он днюет и ночует в студии Пролеткульта; много рисует сам, посещая занятия в одной из вечерних групп, и одновременно преподает.

Замечания его коротки, да и вообще он немногословен. Подходит, берет уголь и начинает поправлять рисунок, делая это уверенно и просто.

Помню его вопрос:

— Художником хочешь быть?

— Хочу.

— Ну что же, через десять лет будешь художником.

Его пророческие слова оказались для меня действительно пророческими: ровно через десять лет я получил диплом об окончании Вхутеина.

Н. Яблонский был убежденным реалистом. В то время редкий художник не был увлечен формальными исканиями, Яблонский устоял и в своих убеждениях был непоколебим.

В 1924 году, приехав на каникулы, мы затеяли выставку

смоленских художников. Жюри никакого нет, каждый дает что хочет.

В небольшой квартире Яблонских в Офицерской слободе все стены увешаны картинами: здесь изображение Тани Яблонской, этюды «В мастерской», «Открытое в сад окно», портрет жены и другие его работы. Мы впервые так широко увидели вещи Яблонского.

Свое дарование он передал своим дочерям, ставшим в дальнейшем художницами.

Одна из последних встреч с Нилом Александровичем была у меня в 1929 году, когда он приехал в Москву по делам Смоленской картинной галереи, созданной им на Соборном дворе. Он же был первым ее директором.

Яблонский заметно осунулся, рисовал в эту пору мало и был целиком поглощен музейной деятельностью. Он с увлечением рассказывал о том, каких первоклассных голландцев из Государственных фондов удалось ему достать в Москве для Смоленского музея.

В его задачу в это время входило на базе собрания Тенишевой, которое включало в себя и коллекцию произведений изобразительного искусства, начиная с икон и кончая последними работами художников русской школы, создать в Смоленске серьезную картинную галерею, что он и осуществил в полной мере.

В тридцатые годы Яблонский переехал из Смоленска в Киев. К этому времени в Смоленске художественная жизнь начала замирать. Художники и молодежь потянулись в Москву и Ленинград. К тому же проявившиеся способности дочерей Яблонского требовали серьезного художественного образования, которое им дал Киевский художественный институт.

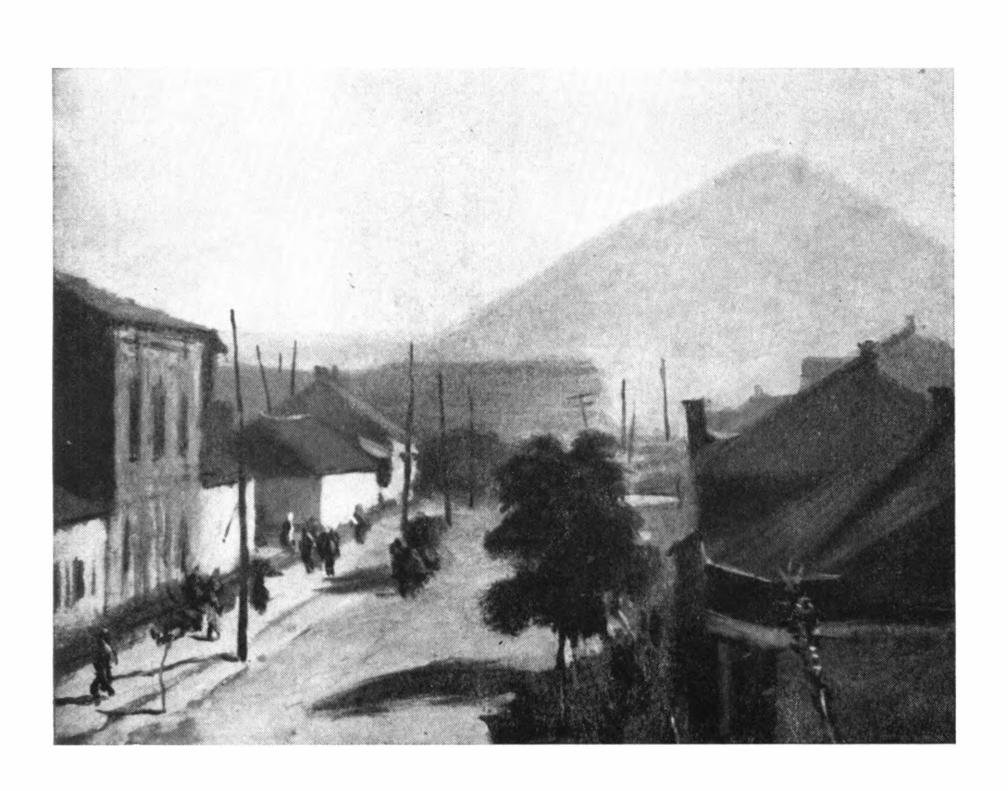
В. Штраних, вернувшийся в Смоленск, на свою родину, где-то году в 1919-м, был в ту пору весьма яркой фигурой. Он отличался блестящей внешностью — красивый, рослый, как-то по-особенному одетый, всегда по-военному подтянутый. Летом он ходил в белоснежной косоворотке с расстегнутым воротником, в широчайших галифе яркого синего цвета, в белых брезентовых сапогах с красной подметкой и каблуком. Зимой носил английского сукна военную бекешу и лихо заломленную на затылке серую офицерскую папаху.

Ученик К. Коровина, всецело находившийся под его обаянием, веселый и яркий рассказчик, Штраних много вспоминал о занятиях в его мастерской.

С первых же дней своего пребывания в Смоленске Штраних становится центральной фигурой для смоленских художников, как профессионалов, так и начинающих.

Он был экспансивным, вспыльчивым, порою несдержанным и быстрым на расправу.

Однажды он нечаянно сел на палитру, оставленную на табу-



1
ДОНБАСС. ДОНЕЦК. ГЛЕЙ. 1935



2
ДЕРЕВНЯ КРЫЛАТСКОЕ. 1935



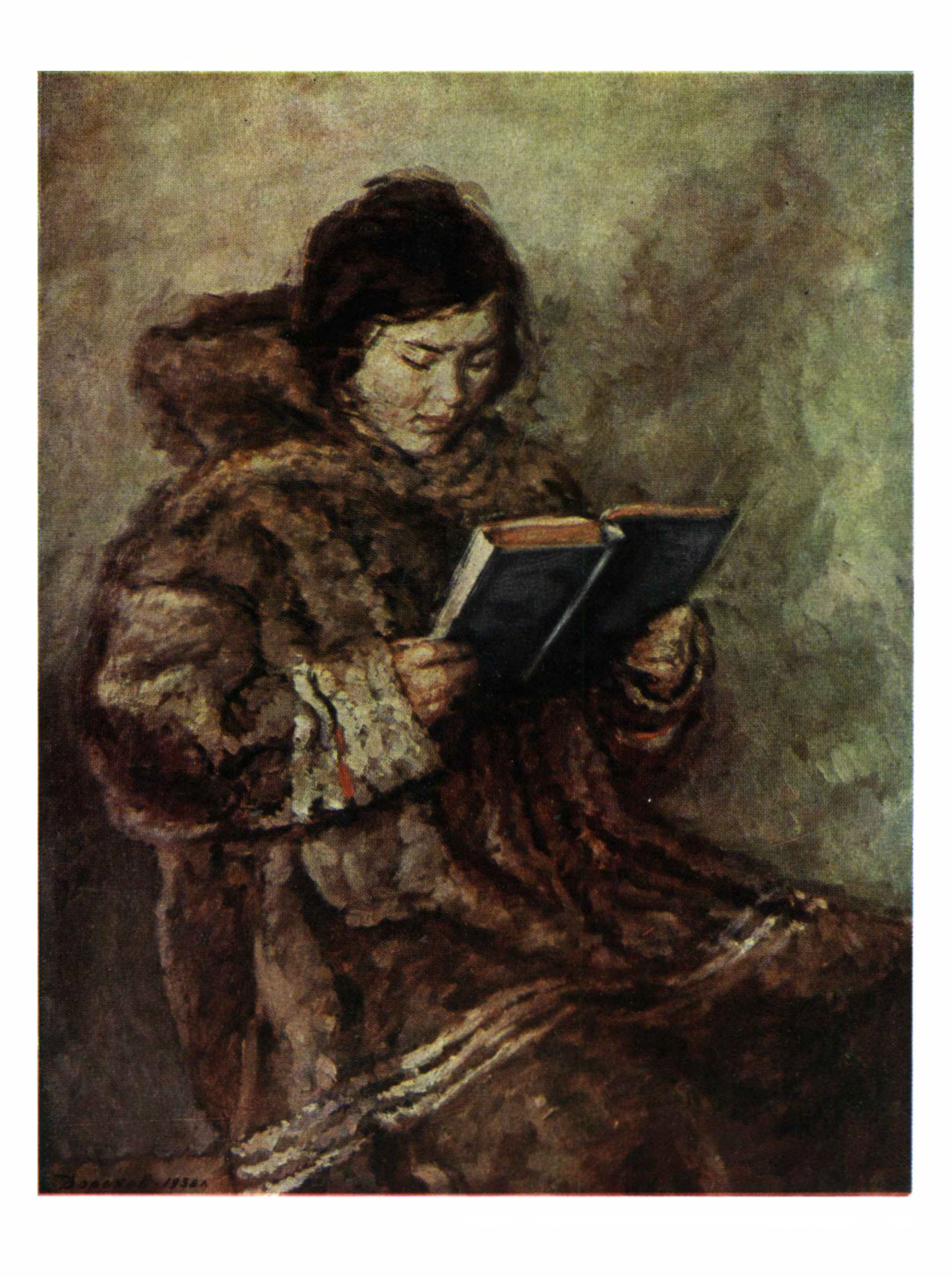
3
ДОНБАСС. ДОНЕЦК. 1935



4
НАТАША ЛЕОНОВА. 1939



5
ШУРА ТЯН. 1940



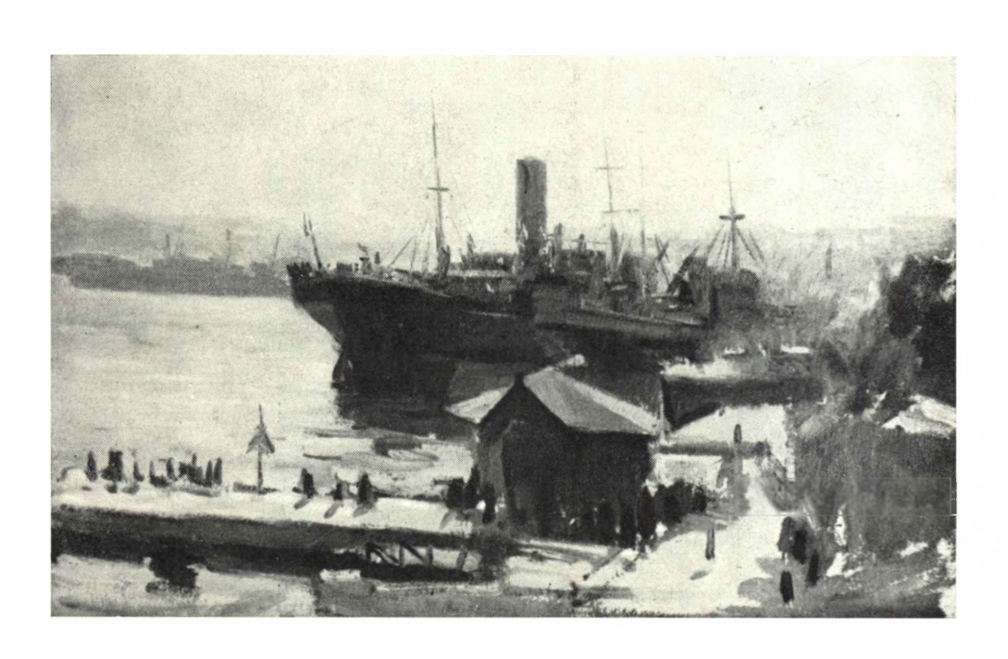
6

НЕНЕЦКАЯ ДЕВУШКА С КНИГОЙ. 1938



7

КРАСНОФЛОТЕЦ ПЕТРОВ С КРЕЙСЕРА «КРАСНЫЙ КАВКАЗ». 1942



8

ТРАНСПОРТЫ ПРИВЕЗЛИ БОЕПРИПАСЫ ОСАЖДЕННОМУ СЕВАСТОПОЛЮ. 1941

рете кем-то из детской студии, вскочил с громким криком и тут же учинил суд — пять человек, в том числе и меня, вышвырнул из студии. Правда, на другой день он нас всех принял обратно. Сердиться он долго не умел. Таким он остался и до сих пор: горячим, вспыльчивым, но в целом очень обаятельным и добрым человеком.

Если в группе Яблонского занимались неприхотливым штудированием натуры, то у Штраниха было совсем другое: от зеленых юнцов он требовал артистизма, яркости, звучности, темперамента, больших размеров. Если писали натюрморт, то непременно брался размер в лист фанеры. Писали либо прямо маслом, слегка прогрунтовав основу клеем, либо на фанеру натягивался плакат-афиша, на обратную сторону которого наносился рисунок. Писали в ту пору большей частью клеевыми красками, реже акварелью и маслом.

На стене в студии висела цитата из Гогена, написанная рукой В. Штраниха: «...картина прежде всего должна напоминать яркий цветной ковер». Каждый из нас, один перед другим, старался быть предельно «цветным» и темпераментным. Рисунок культивировался линейный, с легкой подтушевкой; чувствовалось желание идти от Б. Григорьева и ему подобных.

Рисовали головы, фигуры. Гипсы почти отсутствовали. Натюрморты были самые разнообразные: вычурная ваза на фоне текинского ковра, несусветные гончарные изделия, гигантские медные самовары. Все было цветно, ярко, броско, било эффектностью и широтой.

На одной из отчетных выставок студии состоялась встреча со зрителями. Молоденькая студентка Смоленского университета, поставленная в тупик нашими вещами, обратилась к Штраниху с вопросом: «Скажите, для чего и для кого вы пишете? Я, например, решительно ничего не могу понять».

«Милая девушка, — последовал ответ Штраниха, — художник как птица: она поет только для себя, так и художник. Запомните это раз и навсегда». Странность и безапелляционность такого заявления нас, четырнадцатилетних, не удивляла, и мы его активно поддерживали.

В 1920 году часть студийцев едет в Москву с выставкой работ студии. Успех был редкий. Произведения студийцев поражали зрителей, хотя далеко не были понятными.

Работа над сюжетными композициями почти отсутствовала, помню за все время одно сюжетное задание, да и то оно было в классе Яблонского. Тема была дана — «Труд», и кроме работы одного студийца, который изобразил рабочего грузчика с тяжелым грузом на спине на фоне пароходных мостков, никаких других работ не было.

Пролеткульт широко развил в ту пору свою деятельность.

Были созданы Курсы Пролеткульта, где по вечерам для желающих читались лекции по разным отраслям науки и знания.

У нас в студии объявлен конкурс на изготовление трех плакатов, извещающих о создании Курсов Пролеткульта. В каждом из них должна быть, помимо текста, изобразительная часть. Все захвачены этой работой. Две премии из трех получил я. Это были первые заработанные мною деньги. Сразу же в магазине «Русская старина» покупаю на них набор масляных красок и подрамник.

Помню, как мы под руководством В. Штраниха расписывали портал сцены в университете, куда в то время перебралась студия.

Под ударом молота рушится старый мир, в пропасть летят обломки старого, и над всем встает солнце свободы.

Мы очень горды своим участием в этой работе. Далеко не всем выпало счастье выполнять такое задание.

С большим интересом мы посещали вечера литературной студии. Там выступали поэты Е. Эркин, Б. Лухманов, знаменитый своей поэмой «Кукиш сердца», Н. Зарудин, позже в Москве участвовавший в литгруппе «Перевал», и наиболее колоритные по-своему С. Страдный, А. Китаев и Хмара (Иванов).

С ликвидацией Пролеткульта литстудия стала называться «Кухней поэта» и разместилась в небольшом уютном домике близ Вознесенского монастыря, где в интимной обстановке собирались смоленские литераторы и при свете зеленой лампы читали свои произведения.

Помню, как приехали в Смоленск В. Маяковский и А. Мариенгоф. Причем интересно отметить, у Маяковского была афиша, скромно извещающая о предстоящем вечере поэта Маяковского, а о вечере Мариенгофа сообщалось так: «Явление народу вождя имажинизма Анатолия Мариенгофа».

Несколько особняком в двадцатые годы в Смоленске стояла группа художников, которая под руководством крупнейшего русского живописца С. Малютина работала в имении Тенишевой в Талашкине, где по типу Абрамцева были созданы кустарные мастерские, изготовлявшие ткани, кружева, предметы быта, и где особенно культивировалась резьба по дереву.

Чудесным человеком среди них был А. Зиновьев. Он приехал после окончания Строгановского училища. Зиновьев сочинял образцы мебели и был продолжателем Малютина.

Алексей Прокофьевич у нас был редким гостем потому, что не вполне разделял тот вид искусства, который культивировался в эти годы в студии. После революции он занялся преподаванием в школе и в производственных мастерских, созданных на месте завода Глембовецкого.

Другой яркой фигурой среди тенишевцев был А. Мишонов. Еще мальчиком он пришел работать в мастерские Тенишевой. Мишонов чудесно резал по дереву, хорошо рисовал и делал небольшие жанровые вещицы, напоминающие малых голландцев. Одна из них висит в Киевской картинной галерее. Он блестяще

знал ремесло и был замечательным техником, его копии с Рокотова и Лампи мало чем отличались от оригинала.

Судьба его интересна и в какой-то степени трагична. За свои незаурядные способности в юношеском возрасте он был послан Тенишевой учиться в Париж. Однако, узнав, что девушка, которую он любил, участница хора, созданного Тенишевой, не склонна дожидаться его возвращения и собирается выйти замуж, он бросил все и чуть ли не пешком возвратился на родину. Разгневанная неожиданным возвращением юноши, Тенишева подвергла его опале и прекратила заботу о судьбе талантливого самородка.

Впервые я встретил Мишонова, когда он был уже человеком в летах, обремененным семьей. После революции он перебрался из Талашкина в Смоленск. Невысокий, морщинистый, усы щеточкой, небольшие узкие глазки, с виду — типичный мастеровой, невзрачный и забитый. И рядом с ним его жена, из-за которой он уехал из Парижа, — дородная русская красавица с прямым пробором в густых каштановых волосах. Жили они в монашеской келье Вознесенского монастыря, который был заселен по ордерам жилотдела, как обычный дом.

У Мишонова и у Зиновьева свои небольшие картинные галереи. Среди картин их собраний есть Репин, Васнецов, Врубель, Серов, Малютин, Коровин.

В 1923 году по комсомольской путевке мы вместе с Хазановым едем в Москву держать экзамен во Вхутемас.

ГЛАВА II

ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН

Экзамены

Чудесный август 1923 года. Яркое солнце. Крикливые афиши на цилиндрических тумбах. Световая электрореклама, лото, или попросту рулетки. Вновь появившиеся на Тверской «лихачи», бесконечные вывески частных магазинов, большая очередь у биржи труда в Рахмановском переулке.

В вечернем саду «Аквариум» блистают Владимир Коралли, Изабелла Юрьева, здесь же выступают Леонид Утесов и некто Валерий Валяртинский — подражатель Вертинскому.

С киноплакатов глядят Мери Пикфорд, Дуглас Фербенкс, Бестер Китон, Гарри Пиль.

На улицах молодые люди в стоячих клетчатых кепи, длинных пиджачках, сшитых в талию, в коротких узких брючках и непременных белых шелковых носках.

Черная биржа у шервудовского памятника, поставленного на Ильинском бульваре в память о Русско-Турецкой войне 1877—1878 годов. Подозрительные люди в лаковых полуботинках, декольтированные дамы с густой пудрой на откормленных физиономиях. Все они торгуют валютой. На каждом шагу: «Даю доллары — беру золото».

Нэп в разгаре: кругом покупают, продают, торгуются.

И рядом с этим еще не стершиеся, несмотря на пять прожитых лет, следы октябрьских революционных боев: пробитая снарядом трамвайная мачта у кинематографа «Великий немой» на Тверском бульваре, следы октябрьских сражений на Кремлевской стене, руины на месте телеграфа на углу Тверской и Газетного переулка.

Наравне с частными ресторанами в Газетном переулке вегетарианская столовая, где можно взять стакан молока и съесть бесконечное количество хлеба.

Рядом с афишами, вывесками, громко заявляющими о том, что нэп живуч и не верит в свою кратковременность, объявление о споре Луначарского с Введенским, извещение Камерного театра о начале сезона, четкая конструктивная афиша Театра им. Мейерхольда. И возвышаясь над всем, — плакат на Политехническом музее, возвещающий о выступлении поэта революции Владимира Маяковского.

Шумно и весело во дворе Вхутемаса.

Командировка сдана в канцелярию, разговор с вершителем судеб Николаем Георгиевичем Соловьевым позади, мы допущены к экзамену.

В бурлящей, снующей толпе поступающих возбуждение, смех, шутки. Здесь, наряду с косовороткой и гимнастеркой военного образца, модные блузы, кудри до плеч, томные лица людей, «приобщенных к искусству».

Много «великовозрастных» — тех, кому Октябрьская революция и гражданская война открыли дорогу к искусству и в то же время оказались временными препятствиями на пути встречи с ним.

Здесь сибирский партизан Н. Ерушев, участник взятия Зимнего, комендор орудия с «Авроры» М. Маслов, рабочий с Мотовилихи Л. Старков и много других.

Таких, как я, семнадцатилетних лишь несколько человек. Мы рядом с «великовозрастными» выглядим мальчишками.

Наконец долгожданный звонок. Комендант Вхутемаса, бородатый Г. Казиатко, открывает нам двери, и мы шумной ватагой, кто с холстом, а кто с бумагой, заполняем мастерские, где для нас уже стоят экзаменационные натюрморты.

На лестнице, по пути в мастерскую, нам бросаются в глаза две фигуры. Пройти мимо, не обратив на них внимания, невозможно. Оба с бородами, в каких-то полупальто-полуплащах, на головах — нечто напоминающее монашеский клобук, похожий на тот, который мы видели на изображениях Ивана Грозного, за плечами у одного из них солдатский рюкзак. Это В. Фаворский и П. Флоренский.

В большой светлой аудитории стоят сразу три натюрморта. Один из них составлен из колоссальной братины хохломской работы, груды яблок и, неизвестно зачем водруженного здесь же, бидона из-под керосина.

Но нам, устроившимся возле этого натюрморта, он безусловно нравится. В нем много цвета, разнообразие форм, хорошая светотень, а главное, он очень напоминает нам то, что мы видели и писали у себя на родине, в студии Пролеткульта.

Помню первый натюрморт, который пришлось мне писать в Пролеткульте, ставил его Борис Рыбченков. На простом столе медный орел — герб самодержавия, красовавшийся некогда на городской аптеке Дейча, сброшенный в дни февральской революции и, бог весть почему, попавший в натюрмортный фонд Пролеткульта. На орле — модная в то время эмблема, состоящая из трех предметов — лиры, невиданного фасона молота и серпа. Со стены ниспадает белая ткань и, совершенно непонятно для чего, здесь же поставлено ведро с краской и кистью. Очевидно, они должны символизировать изобразительное искусство.

После такой постановки экзаменационный натюрморт показался нам чем-то очень близким и знакомым.

С проворством, соответствующим возрасту, быстро ориентируясь, занимаем места поближе и поудобнее. Прибиваем к массивному мольберту свои загрунтованные столярным клеем фанерки, накануне купленные в табачном ларьке на Сухаревке, и прямо без рисунка начинаем писать.

Масленка у меня с Хазановым на двоих одна. Макая в нее по очереди кисти, быстро заливаем пол маслом. Пишем широко, смело, решительно, избегая грязи. Чему-чему, а этому нас научили.

В перерыве вокруг нас толпятся экзаменующиеся. Расспросы: «Вы откуда? У кого занимались...»

Мы по-мальчишески горды своим первым успехом.

Неподалеку от нас пишет юноша, примерно одних лет с нами. Он очень тонко нарисовал предметы. Манера его письма скромная, но какая-то особенная и очень убедительная. На фоне того, что делают все остальные, это выглядит чуть ли не натуралистически, но зато сколько в его работе правды и жизни!

Знакомимся. Зовут его Николай, а по фамилии Соколов. Он из Рыбинска, волгарь, работает давно и серьезно. Юноша показывает нам фотографию выставки рыбинских художников, где у него была целая стенка работ, и мы проникаемся к нему уважением, особенно после того, как узнаем, что он уже выступает почти профессионально с карикатурами, рисунками и подписывается «НИКС». Псевдоним удачный и звучный. Он-то и был самым ранним слогом из громкой «фамилии» Кукрыниксы, появившейся позже.

Три дня, отведенные для работы над натюрмортом, пролетели быстро и вспоминаются нами как чудесные минуты напряженной творческой работы.

С рисунком — куда сложнее. Мы, как «истые живописцы», далеко не в дружбе с рисунком.

Рисуем тяжело, все время поглядываем на соседей. Здесь мы явно не на высоте, соседи рисуют грамотней и строят крепче. В лучшем случае, мы — середняки.

Особенно поражают нас умением рисовать Давид Фрадкин, Александр Шорчев — нижегородцы, ученики А. Куприна, и наш «старый» знакомый Коля Соколов. У каждого из них чувствуется серьезная большая подготовка.

Нами овладевает тревога. Дотемна бродим по Москве в предчувствии беды. Завтра в 10 утра мы будем знать, кто из нас принят, а кто должен забрать документы и возвращаться восвояси.

Снова двор Вхутемаса. Солнце светит по-прежнему ярко. Весело звенят трамваи, резко звучат сигналы редких автомобилей, четко цокают по булыжнику копыта лошадей.

Во дворе густая толпа. Чувствуется какая-то приподнятость, томительное ожидание.

Наконец почти торжественно выходят ректор Вхутемаса Фаворский, непременный Казиатко и «всесильный» Соловьев, горбатый, с реденькой бородкой и старомодными очками на испещренном кровеносными сосудами носу.

Наступает тишина, нарушаемая веселой возней воробьев на карнизах здания.

Надтреснутым голосом, блестя очками, Н. Соловьев оглашает список принятых, вернее не список, а номера каждого из нас, которые стояли у нас на холсте или бумаге вместе с печатью и заменяли нам фамилию.

Правда, у меня и Хазанова тревога сегодня была несколько меньше, чем вчера, так как еще рано утром, заглянув в аудиторию, где были развешаны наши экзаменационные вещи, мы увидели на своих работах какие-то таинственные знаки и кресты. По мнению «бывалых», эти кресты позволяли нам надеяться на прием.

Соловьев оглашает номера. Все мы, ожидающие решения своей судьбы, стоим в глубоком молчании.

Две, три минуты, пять... изредка слышится чей-то радостный вздох или восклицание, но своих номеров мы не слышим.

Проходит еще какое-то время, и, наконец, я — на «седьмом небе» — слышу: «номер 213». Это мой номер, я принят! Почти сразу после меня такими же счастливцами оказываются Хазанов, Соколов, Шорчев, Фрадкин.

В заключение Соловьев объявляет: «Все, кого в этом списке нет, пусть соблаговолят взять свои документы, и как можно скорее, так как хранить их в мои обязанности не входит».

Одни, переполненные счастьем, другие, хмурые и надутые, покидают двор Вхутемаса.

Но радость наша тут же подвергается жестокому испытанию. В канцелярии меня и еще нескольких человек, в том числе Хазанова и Фрадкина, ожидал серьезный удар. В списках про-

тив наших фамилий выросли зловещие красные галочки — у нас не было документов о полном среднем образовании.

Чуть ли не со слезами на глазах умоляем Соловьева, клянемся, что в течение года сдадим необходимые справки, но он неумолим: «Ничего не могу, и не просите. Ничего не могу-с. Сами виноваты, молодые люди. Таких, как вы, у нас более чем достаточно — приходится общеобразовательные курсы организовывать». Но тут же, как бы мимоходом, добавляет: «Обратитесь в Охобр. Если они разрешат, — пожалуйста, а не разрешат — не приму-с, и не просите».

Унылые и подавленные идем в Юшков переулок, разыскиваем Наркомпрос, где находится Охобр.

Во главе Охобра в то время стоял поэт Валерий Брюсов. К нему нам и следовало обратиться за решением нашей дальнейшей судьбы.

Поднимаемся по лестнице в здание Наркомпроса. На одной из лестничных площадок под ноги нам попался аккуратный, чистенький кожаный футляр. В нем — пенсне в золотой оправе.

Я сунул футляр в карман, и, не успев решить судьбу этого пенсне, мы оказались у дверей с надписью: «Отдел художественного образования».

В приемной беловолосый старичок с растерянным видом рассказывает, видимо секретарше, о том, что он где-то забыл или потерял свое пенсне и теперь чувствует себя как без рук. Я тотчас же протянул ему пенсне. Старичок обрадован, жмет руку каждому из нас, выражая самую горячую признательность.

Это был Валерий Брюсов. Выяснив, кто мы и зачем пришли, он тут же написал записку на имя ректора Вхутемаса — В. А. Фаворского, с просьбой не чинить нам препятствий для зачисления в список студентов и проводил нас до двери кабинета.

Как на крыльях, несемся мы на Рождественку, 11. Это был чуть ли не единственный случай, когда в высшее учебное заведение принимали людей, не имеющих полного среднего образования.

Итак, на руках у каждого из нас удостоверение, свидетельствующее о том, что предъявитель его — студент 1-го курса Вхутемаса, железнодорожный проездной литер, выданный нам в канцелярии со скидкой, и мы, счастливые и довольные, уезжаем на родину до начала учебного года, до первого сентября.

Впереди веселая, интересная, полная забот и лишений, радостей и огорчений, полная приключений жизнь во Вхутемасе.

Годы учебы во Вхутемасе

Первые шаги во Вхутемасе мы начинаем не в основном здании, а на Мясницкой, 21, в помещении, бывшем ранее Училищем живописи, ваяния и зодчества.

Красный циркульный зал с колоннами, большие удобные классы-мастерские, множество мольбертов, натюрморты и никаких гипсов. Еще задолго до нас с гипсами покончено. Они все перебиты, как никчемные атрибуты, несовместимые с программой новой школы.

Преподают нам милейшие люди: Л. Бруни — рисунок, живопись — П. Соколов.

Среди студентов нашей группы ярко выделяются рыжекудрый юноша Вася Почиталов, буйный темпераментный живописец, и его приятель — Борис Шаляпин, очень похожий на отца, в пенсне, модном костюме и легкой накидке. Здесь же сын Е. Вахтангова. Они держатся запросто, они коренные москвичи, их все знают, с педагогами они давно знакомы, друзья.

Большинство студентов в нашей группе — москвичи. От нас, провинциалов, их отличают и внешний вид, и круг интересов. На занятия они ходят с прохладцей да и то главным образом перед зачетами.

Пишем натюрморт, где центральное место занимает колоссальная оранжево-золотистая тыква, это постановка Соколова, нашего руководителя по живописи.

В классе живописи чувствую себя неплохо, я не из худших. Среди всех студентов нашей группы выделяется только один — Вася Почиталов. У него большой холст, широкое письмо, хотя меня несколько расхолаживает его излишняя привязанность к мастихину.

Все же, несомненно, он — первый номер.

В перерыве в класс приходит Л. Бруни. Остановившись около моей работы и глядя на меня исподлобья, спрашивает: «Илью Ивановича любите?» — и, не ожидая ответа, сам же за меня отвечает: «Любите, любите, сразу вижу».

Да и как не любить было Машкова, создавшего в ту пору, быть может, лучшие свои натюрморты, такие, как «Хлебы», «Мясо» и другие.

Во дворе Мясницкой всегда шум, оживление. Здесь общежитие Вхутемаса, рабфак искусств, столовая.

Рабфаковцев легко было узнать по грубошерстным пальто или курткам. Их выдавали в придачу к стипендии, и тем не менее общий состав рабфаковцев был по своему облику и характеру крайне неоднороден.

На рабфаке занимались юные и великовозрастные поэты и прозаики, будущие композиторы, кинозвезды, певцы, музыканты, архитекторы, живописцы. Все это делало массу рабфаковцев особенно колоритной.

День проводим в классах, а вечером для нас, приезжих, как бы раздвигается занавес, открывая нам столько чудесного, неизведанного и таинственного, к чему мы жадно тянемся. Шумной гурьбой идем в театры, клубы, на концерты. В центре внимания Мейерхольд, Маяковский и Музей западной живописи.

Помню первую постановку, с которой началось наше знакомство с театрами Москвы.

Театр им. Мейерхольда. Ставилась «Земля дыбом» П. Мартине и С. Третьякова. После смоленского драматического — все ярко, дерзко, необычно!

Занавеса и декораций нет — одни конструкции. Сцена расширена до предела, действие начинается в зрительном зале и простирается до колосников.

«Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка, «Смерть Тарелкина» А. Сухово-Кобылина и, наконец, «Лес» А. Островского.

Чудесный Аркашка — И. Ильинский, одетый так, как это могло быть в какой-нибудь буффонаде, убеждал нас в своем образе больше, чем в каком-либо другом театре. Гимназист Буланов в ярко-зеленом парике казался естественным и убедительным.

Хорош был введенный совершенно не по тексту пьесы арапчонок, поющий песенку под аккомпанемент медного таза. Актером в этой роли был наш сотоварищ В. Маслацов.

А заключительная сцена в «Лесе», полная света, красок, музыки, казалась нам верхом совершенства.

Мы ходим чуть ли не каждый день к Мейерхольду — это наш театр, созвучен нашим настроениям, волнует нас, и после него все кажется пресным, серым, натуралистичным.

Совсем юные М. Бабанова, И. Ильинский, З. Райх, здесь же М. Царев, Н. Охлопков, М. Жаров, Э. Гарин, В. Яхонтов и другие — именно здесь родились эти замечательные актеры советского театра.

Двери театра для нас всегда широко открыты.

Зачетная книжка вхутемасовца, в знакомом всем коричневом переплете, имеет магическое действие — с нею нас везде пропускают, будь это вечер Маяковского или маленький театр «Семперантэ» на Малой Дмитровке. Но для нас она еще особенно дорога и потому, что на одной из ее страниц помещен текст декрета об образовании Вхутемаса, подписанного Владимиром Ильичем Лениным.

Мы на основном отделении. Двери специальных мастерских для нас пока закрыты. Но по окончании занятий мы можем переступить порог мастерских и знакомиться с тем, что в них делается.

Мастерская Г. Федорова и И. Машкова поражает своей яркостью, широтой, цветистостью. Д. Штеренберг странен и непонятен. Мастерская Р. Фалька вызывает уважение — там занимаются Г. Шегаль, А. Ржезников, В. Сигорский — серьезные мастера живописи.

Мастерская Д. Кардовского стоит особняком. В ту пору все левое или более или менее левое гораздо больше волновало молодежь, и сухая академичность постановок Кардовского студентов не привлекала.

Украшением мастерской А. Шевченко был Порфирий Крылов — невысокий, стройный юноша, в аккуратных сапожках и синей косоворотке. Острые глаза, несколько крупный нос, держится с достоинством, знает себе цену.

Вещи его резко выделяются не только на фоне мастерской, но и на фоне всего Вхутемаса. Глубокий цвет, густое письмо, чудесная лепка. Он любит передвижников, увлекается Рембрандтом, ему чужды левацкие выверты и всякие фокусы — уважение к нему безгранично. К его голосу прислушиваются больше, чем к мнению руководителей. В институте с ним соперничает только один А. Ржезников — зрелый художник, мастер рисунка.

При полугодовых зачетах-выставках Крылов всегда в центре внимания, на его вещи идут смотреть не только студенты, но и преподаватели. От тех лет помню его натюрморты с тетеревами. Краски свежие, чистые. Свободное письмо доведено до предела, блестящая техника.

Михаила Куприянова я узнал несколько раньше, очевидно, потому, что, волею судеб, я сначала попал на графический факультет Вхутемаса, где Куприянов уже учился на третьем курсе и был одним из комсомольских вожаков.

Особенно памятна мне вылазка нашей комсомольской ячейки в жаркую июльскую пору в Серебряный бор, где Миша, без тени улыбки на лице, выступал как артист комического плана. Очень хорош был он, изображая борьбу с самим собою. Обхватив себя руками, пыхтя, он всем видом выражал крайнее напряжение. На лбу надувались жилы, выступал пот — иллюзия борьбы двух людей была чрезвычайно убедительна.

Здесь же я впервые услышал «Поэму о солнце» Маяковского в исполнении того же Куприянова, показавшего новую неожиданную сторону своего дарования.

Ни одно комсомольское собрание, ни одна демонстрация, в которой принимали участие вхутемасовцы, не обходились без него. Всегда можно было в недружном хоре нашей братвы услышать басистое пение Миши Куприянова, неистощимого к тому же на всякие выдумки.

В эту же пору мы его знали и как очень интересного карикатуриста, который своими рисунками заполнял нашу газету «Красный Октябрь».

Тогда же примерно и в той же газете с карикатурами выступал и Порфирий Крылов, а несколько позже и Николай Соколов.

Где и какие точки соприкосновения объединили этих талантливых людей — Крылова, Куприянова и Соколова, — я не берусь утверждать. Сыграло ли свою роль общежитие на Мясницкой, где они жили все трое чуть ли не в одном подъезде, или их объединению способствовала наша стенная газета — об этом они расскажут сами. Помню, как на страницах нашей

стенгазеты, а потом и в журнале «Московский печатник» под карикатурами начала появляться своеобразная подпись «$\frac{\text{Ку}}{\text{Кры}}$» И эта подпись, и особенно сами рисунки, всегда острые и своеобразные, сразу запомнились.

Коля Соколов — мой однокурсник. И живем мы вместе. Койки наши, моя и Соколова, стоят рядом.

Мне, как комсомольцу, поручили на заводах «Коса» и Дроболитейном оформлять стенные газеты. Единственной компенсацией за труд были трамвайные талончики туда и обратно.

Делая для одного из этих заводов газету, я неоднократно слышал от редактора просьбу: «А хорошо бы сделать карикатуру на нашего секретаря, да и еще на одного-двух наших комсомольцев», — и тут же предлагал мне тему, но беда была в том, что я даже не представлял себе, как подступить к этой работе. Престиж мой явно скрипел — какой же это студент Вхутемаса, если не может сделать карикатуру.

Коля Соколов решил моему горю помочь. В завкоме я взял фотографии товарищей, которых надо было высмеять, и буквально на другой день Коля сделал требуемые карикатуры. Его рисунки в заводской газете были встречены восторженно.

В эту пору я и начал принимать участие в стенной газете Вхутемаса. Мое участие, правда, было более чем скромным — я переписывал печатными буквами заметки в газету. Но это не мешало мне гордиться моим причастием к стенной печати института.

Нужно сказать, что наша стенгазета в ту пору писалась от руки и доходила в длину иной раз до 7—10 метров, с обязательным отделом сатиры, носившим название «Арап-отдел». Душой его были А. Ржезников, Н. Соколов, М. Куприянов.

Помню карикатуры с подписью «Никс», которые появились в нашей газете в 1923 году. На одной, в двух кадрах был изображен наш вестибюль. Первый кадр представлял собой квадрат, залитый черной тушью, на втором — тот же квадрат, но как бы при вспышке магния: в потемках студенты из-за отсутствия лампочек сталкиваются лбами друг с другом.

Позже «$\frac{\text{Ку}}{\text{Кры}}$» и «Никс» стали одним целым. В памяти сохранились чудесные рисунки этой троицы, в которых исполнение и выдумка были на одинаково высоком уровне. Был момент, когда вся система нашего обучения переживала кризис. Программа была расплывчатой, не чувствовалось твердого плана и последовательности в методике преподавания, и вот на страницах «стенгаза», как мы называли свою газету, появляется во весь лист рисунок: здание Вхутемаса, наподобие броненосца «Потемкин», плывущее по бурным водам; на капитанском мостике — Фаворский, Казиатко. Все сделано забавно, каждый ку-

сочек тщательно разобран, а общий заголовок карикатуры — «Броненосец в потемках».

Рисунок этот появился в момент, когда фильм «Броненосец «Потемкин» только что вышел на экран и был всем известен.

Основное здание Вхутемаса помещалось на Рождественке (сейчас — здание Архитектурного института), собственно, оно состояло из двух разновременных сооружений.

Двери, расположенные в длинном полутемном коридоре старого здания, вели в большие аудитории. Здесь размещались персональные мастерские.

В мою бытность здесь были мастерские И. Машкова, А. Архипова, Р. Фалька, Д. Кардовского, А. Древина, декоративная и монументальная. В них занимались люди, глубоко уверенные в том, что их подлинное призвание — живопись и какие бы трудности ни ожидали их после института, они не сойдут с избранного пути.

Кое-где на стенах в аудиториях и коридорах висят гипсовые копии антиков, картины, но их немного. О старой Строгановке напоминают лишь ампирная лестница, чудесный актовый зал с бирюзовым потолком, отделанным цветной керамикой, да высокие скамьи с пюпитрами, полукругом расположенные в актовом зале.

Из оставшихся образцов эпохи Возрождения лучше всего сохранились двери баптистерия скульптора Лоренцо Гиберти, стоящие в самой большой аудитории, где находится мастерская Германа Федорова.

Целиком и полностью от «строгановских времен» сохранилась библиотека. Высокие до потолка шкафы, на стенах между шкафами репродукции, гравюры. Идеальная чистота, прохлада и глубокая тишина, располагающая к занятиям.

Непременной принадлежностью библиотеки являются две старушки — хранительницы библиотеки. Одеты они старомодно — обеим под семьдесят,— держатся строго и неукоснительно следят за порядком, заведенным не один десяток лет назад. Каждого, заходящего в библиотеку, заставляют показать руки и тут же в случае необходимости указывают на умывальник и полотенце. И пока не убедятся в абсолютной чистоте рук, ника кой книги вам не дадут. Да иначе и нельзя. Живописцы, скульпторы в перерыве между занятиями спешат в библиотеку, зачастую забывая помыть руки.

Библиотека в полной сохранности, если не считать пострадавших выпусков «Галереи Европы», в которых недостает многих репродукций.

Возле входа в монументальную мастерскую — абстрактная фреска, созданная в 1918 — 1919 годах. Эта фантасмагория линий и геометрических форм занимает всю стену от пола до по-

толка. Что она должна была выражать, никто не знал, да и имена написавших ее были забыты.

Строгановский музей, как и его архив, к этому времени уже не существовал. Все подверглось разрушению. Сохранились лишь отдельные экспонаты, размещенные кое-где в канцеляриях и на стенах бесконечных коридоров. Время ломки обошло стороной только одну часть музея, принадлежащую текстильному факультету, здесь собраны старинные ткани и вышивки.

Весь персонал, за исключением молодых преподавателей, пришедших в стены Строгановки после революции, остался от императорского Строгановского училища. Они до сих пор не могут понять происходящих перемен. В их памяти живы величие Строгановки, ее слава.

Изменения профиля и задач училища им глубоко чужды.

Новое здание Вхутемаса — здесь же на Рождественке, примыкает к старому и соединяется особым переходом. Построенное в 1914 году, оно несет на себе все присущие «модерну» черты. Широкая лестница, высокие светлые аудитории.

В этом здании разместились на первом этаже скульпторы. Руководят на скульптурном В. Мухина, И. Ефимов, И. Чайков.

На втором этаже — граффак, где широко представлены все виды полиграфии, что дает возможность тут же ознакомиться с современным печатным делом.

В новом же здании находятся металфак, керамический факультет, декораторы и монументалисты.

Особенно хорош здесь декоративный зал, который при мне уже не использовался по прямому назначению и вскоре был превращен в гимнастический. Примыкавшие к нему светлые, с обилием стекла и даже стеклянным верхом мастерские были в некоторой степени неудобны: зимой в них холодно, а в солнечные дни — мучительно от чрезмерного обилия света и жары.

Плоская крыша здания, очевидно рассчитанная для постановок на воздухе, больше являлась местом отдыха и развлечений.

Здесь же во дворе — здание, где живут служащие и кое-кто из профессоров: высокий, худой, с редким по благородству профилем Н. Купреянов, часто за близостью расстояния приходящий на занятия, даже зимой, без пальто; седой, с непомерно большим лбом, с умными проницательными глазами Д. Штеренберг, вызывающий особый интерес — он близок к Луначарскому, работал с Лениным.

Несколько позже, когда общежитие на Мясницкой оказалось переполненным, в этом же здании, во дворе бывшей Строгановки, отвели несколько комнат под общежитие.

Интересна была лавочка, которая осталась еще от Строгановки. Раньше в ней продавались произведения «строгачей». В наши дни — краски, холст, кисти. У студентов лавочка пользовалась особым вниманием: в ней можно взять материалы в кре-

дит и в счет стипендии. Работали здесь две пожилые дамы, так же оставшиеся от Строгановки, очень добрые, внимательные.

Продававшиеся краски готовились в мастерской Вхутемаса, где дело их изготовления было поставлено очень высоко — они не уступали «досекинским». Высокий, седобородый, представительный мужчина — Туркин — душа этого дела, химик, большой специалист. Не покладая рук работал он над улучшением качества красок.

С раннего утра со всех концов Москвы тянутся на Рождественку студенты, и особенно много шло сюда с Мясницкой, из общежития.

Узким Юшковым или Бобровым переулком, мимо громадного здания Наркомпроса, минуя костел, выходили в Варсанофьевский переулок и в течение 7—8 минут, пройдя ворота, попадали на просторный двор Вхутемаса, где расходились по многочисленным мастерским и аудиториям.

Едва ли не самой колоритной фигурой среди профессоров был Д. П. Штеренберг. Его натюрморты в Музее западной живописи с объемными пирожными, с сиротливо лежащими селедками нас забавляли — казались курьезными.

Невысокий человек с большим лбом, наполовину седыми волосами, косматыми бровями, умными живыми глазами, вечной улыбкой радушия. Всегда в неизменном сером костюме, говорит с сильным акцентом, выражается парадоксально.

Волею судеб, последний год я провел в его мастерской. Здесь же в это время занимались В. Алфеевский, М. Гуревич, И. Ивановский.

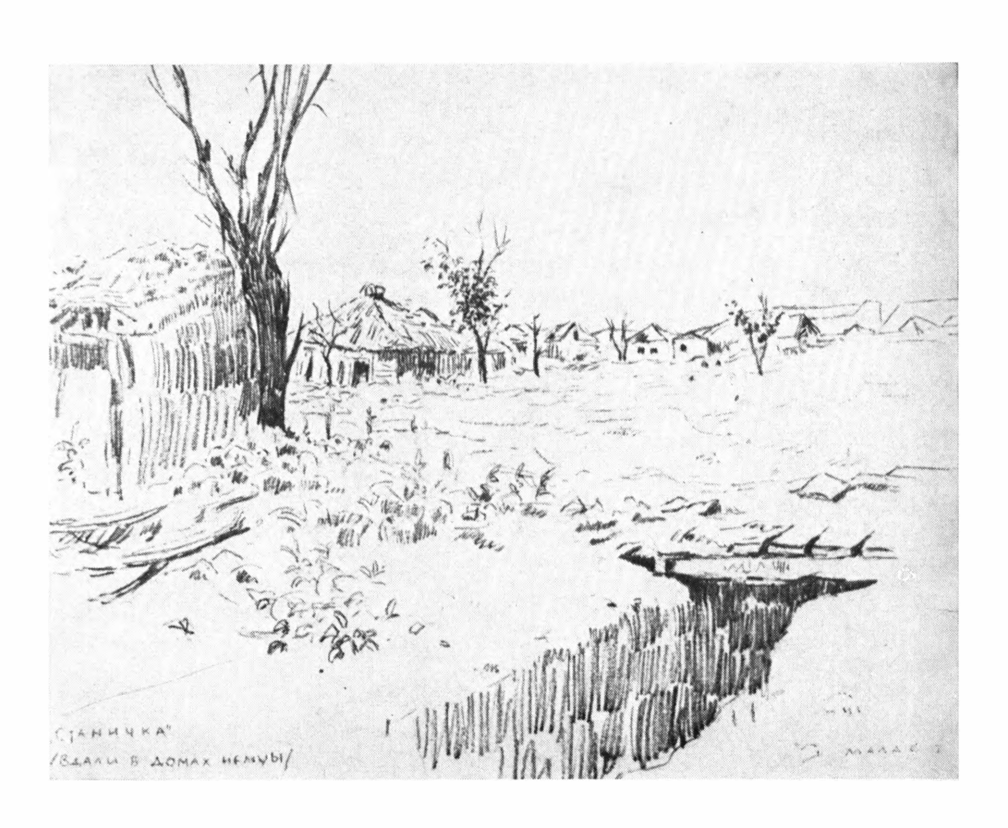
В первый раз, подойдя ко мне, Давид Петрович задержался около меня и на ухо сказал: «Ну что же, вы хотите научиться писать точь-в-точь. Мешать не буду». И тут же добавил: «У Гете насчет двух мопсов, помните? Скульптор вылепил мопса, он был точь-в-точь как живой, но искусства еще не было».

Штеренберг всегда считал необходимым поддержать молодых художников. Когда в 1933-м году мне и ряду товарищей представилась возможность показать некоторые из своих работ на выставке пейзажей в МОССХе, то не кто иной, как Давид Петрович, на обсуждении выставки тепло отзывался о наших вещах.

Он совершенно не склонен был нас толкать на какой-то «свой» путь, но в то же время всегда старался подчеркнуть свое отношение к предмету.

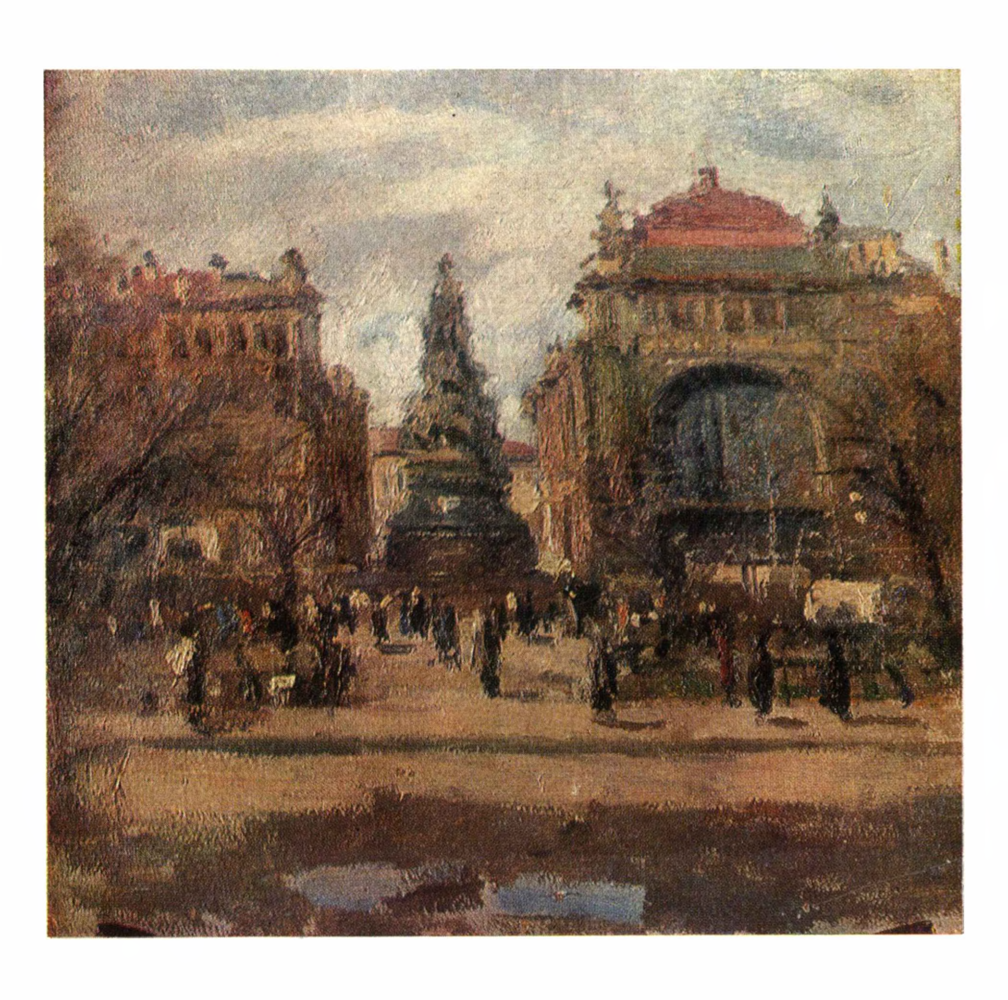
И когда у одного из нас работа была близка к натуре, он в разговоре сказал так: «Вы думаете, что вы уже поймали бога за известное место, нет, нет!».

Любимым его выражением, когда работа казалась удачной, была фраза: «Еще немножечко, и уже есть».



9

«МАЛАЯ ЗЕМЛЯ». СТАНИЧКА. ВДАЛИ ДОМА, ГДЕ НАХОДЯТСЯ НЕМЦЫ. 1943



10

ЛЕНИНГРАД. БЛИЗ ПАМЯТНИКА ЕКАТЕРИНЕ. Май 1941 года. 1941



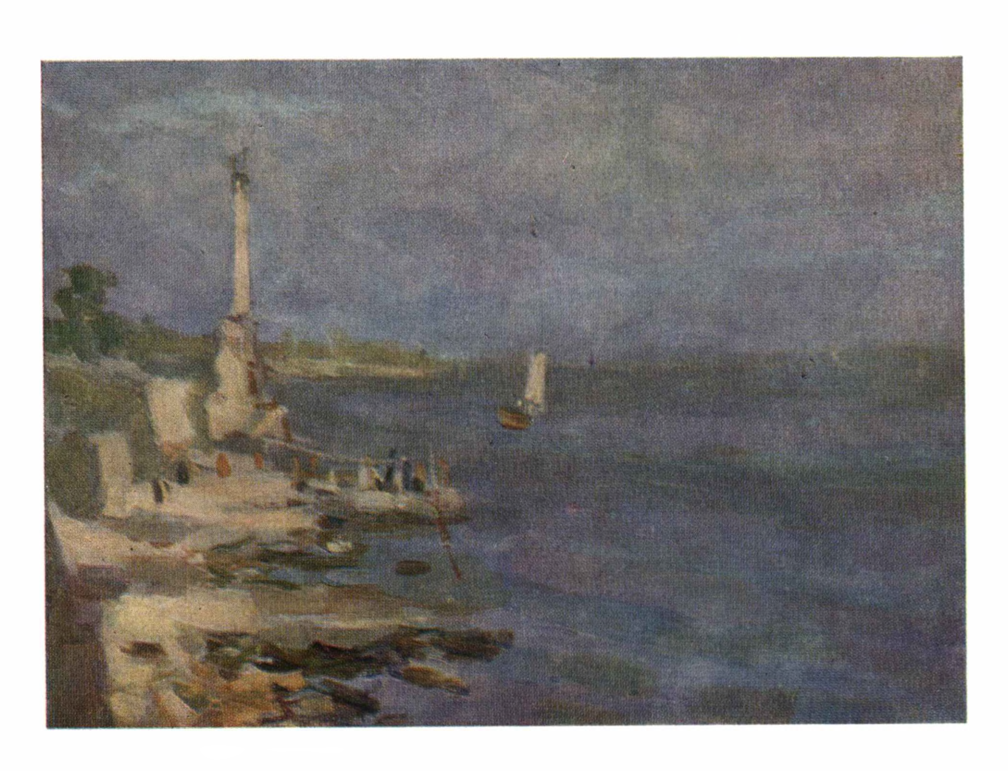
11
КРЕЙСЕР «КИРОВ» НА НЕВЕ В ДЕНЬ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ. 1943



12
ГОРПИЩЕНКО П. Ф. — КОМАНДИР ОТРЯДА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ.
СЕВАСТОПОЛЬ. 1942



13
ВОРОНЦОВ ФРОЛ АНДРЕЕВИЧ – ДИВИЗИОННЫЙ СВЯЗНОЙ. 1943



14
СЕВАСТОПОЛЬ. У ПАМЯТНИКА ПОГИБШИМ КОРАБЛЯМ. 1941



15

ЭСМИНЕЦ «СЛАВНЫЙ». ЛЕНИНГРАД. 1943



16
РЕГУЛИРОВЩИЦА. ЛАДОГА («ДОРОГА ЖИЗНИ»). 1942

В мастерской у Штеренберга каждый делал что хотел, под видом поиска индивидуальности.

Миша Гуревич писал плоскостно, обожал Дерена, Пикассо, Матисса. Да и вообще для большинства студентов этой мастерской три упомянутых имени заслоняли все прочие. Один только Ивановский нещадно подражал Домье, заваливая мастерскую десятками своих композиций.

Каждый стремился быть предельно оригинальным. Например, Гуревич всегда старался закомпоновать фигуру так, чтобы голова — столь «несущественная» деталь — была вне плоскости холста.

Очень интересно и талантливо писал Алфеевский. Он всегда был своеобразен.

В этой мастерской занимался «прошедший огонь и воду» Лев Каплански1й. Он начал учиться в Строгановке, занимался в Свободных мастерских, затем во Вхутемасе и в конце концов во Вхутеине. На одном из вхутемасовских вечеров И. Слоним выставил бюст Капланского в виде памятника с надписью «Вечному студенту».

Д. Штеренберг часто приходил на занятия с какой-нибудь новостью. Человек он был общительный и рассказчик незаурядный. Почти со всеми парижскими мэтрами он был знаком, а кое с кем и на дружеской ноге. Году в 1928—1929-м он сопровождал Анри Барбюса, который пожелал ознакомиться с Вхутемасом.

Барбюс высокого роста, очень худой, изможденное лицо, строгий, исподлобья взгляд. На нем — темное пальто с поднятым воротником. Знакомясь с нами, жмет крепко руку, молча обходит мольберты, скупо бросая фразы через большие промежутки времени.

С ними ходит наш последний ректор П. Новицкий — среднего роста, с густыми, неопределенного цвета, волосами, как крылья висящими над головой, с лохматыми бровями, большими выпуклыми глазами и отвисшей губой. Выражается четко, безапелляционно. Стиль разговора особый,— несомненно, с большими ораторскими данными.

Приехавшего в Москву Диего Ривера сопровождает целая свита: Штеренберг, Новицкий, Бела Уиц, представители Наркомпроса. Ривера обходит внимательно все мастерские, больше всего задерживается в мастерской Штеренберга — здесь для него, явно, все ближе и понятнее.

У нас в гостях бывал и Н. Подвойский. Он рассказывал нам о деятельности Военно-Революционного комитета в Петрограде в дни Октябрьского переворота, о своей работе с Владимиром Ильичем Лениным.

Запомнился вечер — встреча с поэтом Василием Каменским. Мы его давно знали и любили. Его имя неразрывно с именем Маяковского, рядом с Маяковским и он кажется значительнее

и выше. Веселый, плечистый, с расстегнутым воротом, небольшими глазами, высоким лысым лбом и рыжеватыми завитками волос.

Голос зычный, громкий:

«Сарынь на кичку
Ядреный лапоть
    Пошел шататься
        По берегам.
Сарынь на кичку!
    В Казань!
    В Саратов!
В дружину дружную
    На перекличку,
    На лихо лишное
Врагам!»

И когда он, поясняя нам значение слов «сарынь на кичку», говорит, что с такими выкриками разбойники выходили на своих стругах на промысел, сам он, Каменский, рисуется нам среди этих разбойников с кистенем в руках, с зычным посвистом и, непременно, с серьгою и прочими атрибутами удалого молодца.

Каменскому только что исполнилось сорок лет. На днях мы в Театре революции видели его «Стеньку Разина». Он читает стихи:

«Мы в сорок лет, друзья,
Совсем как дети...»

И действительно, он очень молод, полон сил, энергии. Рассказывает о годах, когда он выпускал в «табун» молодого «коня» — Маяковского, вспоминает, как одним из первых заметил его и окрылял в начале его поэтической деятельности. Тут же читает нам забавную афишу первых дней нэпа. Она гласит: «Поэт Каменский выступает со стихами и прозой, обслуживая вечера, вечеринки, именины, похороны, свадьбы и пр.».

Афиша, явно, не имела практического значения и была, скорее, озорной проделкой, издевкой над туповатыми нэпманами.

Как-то придя в мастерскую, Д. Штеренберг особенно сиял. В руках у него — сборник стихов Маяковского. Довольный, читает нам дарственные строки, написанные Маяковским собственноручно:

«Давиду Петровичу,
чтобы художником рос
плюнув
        на время,
                годы,
Охобр и Наркомпрос».

В. Фаворский был первым ректором, которого я застал. Спокойный, одевался своеобразно, архаично, в фигуре было что-то

монашеское, аскетическое. Его «Книга Руфь» восхитила нас и сделала его поклонниками.

У Фаворского своя система. Уже в ту пору мы все горою стояли за него. С его именем неразрывно связано создание основного отделения, которое охватывало два первых курса и как бы ставило своей задачей, проведя студента через все «дисциплины», дать представление о пластике.

Цвет, объем, пространство преподавались здесь как отдельные самостоятельные предметы. В ту пору такое расчленение никого не удивляло и казалось естественным.

Помню на первом курсе задание по объему: дан цилиндр, студент должен привлечь какие-то дополнительные формы, детали и показать его протяженность, округлость, весомость.

Мой сосед по общежитию решил задачу и получил зачет с оценкой три. Я органически не переносил эти дисциплины и готов был на все, чтобы не выполнять подобных заданий. Но зачет есть зачет. И вот я с разрешения моего соседа-студента тайно беру из фонда его задание, приношу в общежитие и делаю одну простую вещь — перекрашиваю белый цилиндр в зеленовато-фисташковый. Несу на зачет. Комиссия, восхищенная «моим» решением, ставит мне пятерку и отбирает работу для выставок в Литфонде.

Задание по цвету: надо на плоскости дать два любых геометрических тела, причем одно из них должно быть решено расположенным в глубоком пространстве, а другое, находясь на том же фоне, должно быть значительно ближе.

А. Каневский, неистощимый на выдумки и относившийся также скептически к этим заданиям, решил задачу так: на коричневом фоне он дал с одной стороны яйцо, сделанное бледно-голубым, дескать, оно покажется далеко за плоскостью, и тут же поместил ярко-красный гроб, который буквально выскакивал из плоскости. Задание выполнено. Бесхитростные педагоги не усмотрели ни капли присутствовавшей иронии.

Интересную картину можно было наблюдать, когда в период зачетов с Мясницкой на Рождественку шли утром студенты с заданиями по объему. У каждого в руках громоздкие цилиндры, кубы, порой с самым причудливым решением, вызывавшие недоумение прохожих.

Н. Соловьев, проработавший большую часть жизни в Строгановском императорском училище, говорил: «Нет, молодые люди, у нас этого в Строгановке не было, обходились без этого и знаете — ничего — получалось».

Для многих студентов эти занятия были в тягость, и выставленные на отчетных выставках работы производили весьма дикое впечатление.

Мое желание поступить во Вхутемас было настолько велико, что я не очень задумывался над тем, какой факультет избрать.

Кстати, в год моего поступления на живописный факультет приема не было, и я оказался на, так называемом, граффаке.

Большой светлый зал — литографская. Камни, станки, возможность печатать самому, чудесный запах литографской краски — все сначала волновало меня, но в дальнейшем пребывание на граффаке действовало на меня угнетающе.

На основном отделении, пока дисциплины для всех факультетов общие, было еще ничего, но потом, когда начались специальные полиграфические дисциплины, производственная практика, стало невмоготу.

Да и не удивительно, о цвете — самой волнующей дисциплине, о возможности упиваться цветом не говорилось ни слова, черное и белое решали все. Существовали хромолитография и линогравюра, но что это по сравнению с «чистой» живописью.

Преподавали у нас тогда стопроцентные «чернокнижники» В. Фаворский, П. Павлинов, П. Львов (правда, Львов считал себя живописцем), и не удивительно, что для нас цвет был второстепенной вещью.

С чувством зависти я ходил на живописный факультет. В перерыве между занятиями бродил по мастерским, где мои товарищи писали натюрморты, человека, а летом — этюды на натуре. И я не раз задумывался о возможности своего дальнейшего пребывания на графическом факультете. Особенно угнетали споры — кого должен готовить графический факультет и каким должен быть его профиль. Одни утверждали, что задачей факультета является подготовка художников-графиков, другие — технологов.

Каждое лето у нас была производственная практика, и каждый студент-практикант за время пребывания на практике мог быть использован на всех видах работ в типографии, окупив тем самым свое пребывание на производстве. В итоге многим из нас приходилось шлифовать камни, резать канифоль и долгие часы простаивать приемщиком у печатной машины, что к искусству прямого отношения не имело.

Дойдя до четвертого курса, я взбунтовался и твердо решил: дальше на граффаке я не останусь ни одного дня.

Поработав некоторое время по живописи и собрав все сделанное на первых курсах, я отправился к декану факультета Р. Фальку. Жил он тогда на Мясницкой, 21, и среди профессоров был одной из наиболее колоритных фигур.

Крупный, грузный, с большими выпуклыми глазами за толстыми стеклами очков, немногословный, но пользующийся большим авторитетом у студентов. У него была в институте чуть ли не самая интересная мастерская. Здесь писали добротно и без каких-либо вывертов и фокусов. Едва ли не самым первым из профессоров Фальк начал ставить постановки, отвечающие со-

временности. Портрет столяра за работой, точильщика, натюрморт из индустриальных предметов и другие. Возможно, все это было неглубоко, но желание сделать академические постановки жизненными было налицо.

Тяга в мастерскую Фалька необычайна. Почти каждый из живописцев мечтал к нему попасть, а попасть к нему было не легко. Ежегодно осенью у дверей мастерской Фалька выстраивалась длинная очередь с холстами и папками. Но после просмотра, который Фальк проводил вместе со своими ассистентами, немногие попадали к нему, и все непринятые с горестным видом разбредались по остальным мастерским.

Чем Р. Фальк умел пробудить такое уважение к своей мастерской? Авторитет его, как мне думается, складывался главным образом из следующих вещей. Во-первых, в Третьяковской галерее у Фалька была отдельная комната работ, которые казались нам весьма интересными. Глубокий суровый колорит, тщательно писанные холсты, нежелание прибегать к внешним дешевым эффектам — все это рисовало нам его как серьезного художника. Во-вторых, сам состав мастерской был таким, что на полугодовых студенческих выставках мастерская Фалька выглядела всегда строгой и по-своему реалистической. А. Ржезников, Г. Шегаль, В. Сигорский, С. Чуйков, несколько позже Е. Малеина, Н. Ромадин и другие во многом определяли лицо мастерской.

Р. Фальк принял меня внимательно, быстро просмотрел мои работы, которых было немного, и написал ни к чему не обязывающую записку в две строки: подтверждаю у студента такого-то наличие живописных данных — и подписался «Фальк». Записка эта почему-то осталась у меня и до сих пор хранится в моих бумагах.

Николай Алексеевич Шевердяев, исполнявший в ту пору обязанности декана графического факультета, препятствий мне не чинил и отпустил меня, сказав на прощание: «Правильно поступаете, вам у нас делать нечего».

Попасть в мастерскую Фалька я, перешедший с граффака, даже и не пытался и сразу же отправился к А. Шевченко. Шевченко был главой объединения художников, которое носило название «Цех живописцев» и ежегодно устраивало свои выставки. Красивый, с гладко лежащими черными волосами, бронзово-смуглый, с точеными чертами лица, всегда тщательно побрит, одет со вкусом. Он — хороший рассказчик и попросту обаятельный человек.

Присев на подоконник, в то время как мы трудились над постановкой, Шевченко много рассказывал нам о Париже, о разных художниках. Замечания его были чрезвычайно скупы, немногословны, он, видимо, больше, чем кто-либо другой, полагался на самостоятельность студента.

За все время пребывания у него в мастерской он только од-

нажды взял у меня кисть и сделал два-три мазка. Но тем не менее я навсегда сохранил признательность по отношению к нему. Он первый, от кого я услышал по-настоящему, насколько живопись серьезная вещь.

В мастерской я снова встретил П. Крылова — он был ассистентом Шевченко, старого знакомого В. Почиталова, В. Руцая, М. Хазанова, Р. Барто, И. Ахремчика.

Все они были «последовательными» живописцами, и мне приходилось, сознавая свою слабость, тянуться за ними.

Старшее поколение вхутемасовцев

Великовозрастные, или, как их называли в ту пору, правда не всех, «женатики» резко выделялись среди разношерстной массы студентов. Внешность, одежда, походка, поведение — все говорило о том, что эти люди вкусили жизнь и испытали на себе превратности судьбы. Многие из них еще не успели распроститься с шинелью, вылинявшей на солнце. Кое-кто имел следы ранений и контузий.

Присутствие среди студентов рядовых революции и участников гражданской войны в значительной степени формировало поведение остальных, и в том числе безусых юнцов.

Подтянутость, организованность, дисциплинированность и выдержка, свойственные людям, побывавшим в армии, служили для нас невольным примером.

На студенческих собраниях, в партийной или комсомольской организации, в аудиториях мы всегда ощущали присутствие этих товарищей, их спокойствие, рассудительность и непременную четкость.

Были среди них люди, которым довелось еще воевать во время войны 1914—1917 годов, участвовать в революционных боях в Петрограде и в Москве, сражаться с Колчаком, Врангелем, участвовать в боях за Перекоп. Многие из них видели Владимира Ильича Ленина.

Для нас 1914—1920 годы были окутаны тревожной романтикой, и те, кому пришлось делать революцию, воевать за Советскую власть, вызывали у нас особое внимание, интерес и глубокое уважение.

Держались они все, как и надлежит фронтовикам, дружно, а к нам относились снисходительно, с некоторой усмешкой, что часто можно наблюдать в отношениях старших к безусым зеленым юнцам.

Все они разбрелись по разным факультетам, осуществляя давнюю свою мечту, которая наконец стала реальностью.

Наиболее колоритным среди них был Н. Ерушев. Черный, как смоль, коренастый, грубо скроенный, плечистый мордвин, с резкими чертами лица, с густыми бровями, с вечным прищуром

глаз, он сразу бросался в глаза и запоминался, как никто другой. Мохнатая забайкальская папаха, кургузое пальто и непременные валенки делали его особенно громоздким. Своеобразный выговор, гортанность и оканье выделяли его среди массы студентов.

Солдат империалистической войны, участник Октябрьской революции, делегат II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, сибиряк-партизан, Ерушев, наконец, попал на живописный факультет.

Имел ли он какое-либо образование до Вхутемаса, кроме приходско-церковной школы, никто из нас не знал. Да оно в ту пору по отношению к таким, как Ерушев, и не считалось обязательным.

Наряду с окончившими школы II ступени, рабфак, была во Вхутемасе небольшая прослойка рабочих, крестьян, красноармейцев, которым при поступлении делалась скидка, их принимали даже при отсутствии среднего образования.

Попал Ерушев по командировке ЦК, и за первыми его шагами следил сам А. В. Луначарский.

Учеба Ерушеву давалась с трудом. Он как бы являлся диким самородком, не поддающимся совершенно шлифовке.

Но мы ценили Ерушева за его рассказы о встрече с Владимиром Ильичем Лениным на II Всероссийском съезде Советов, о Петрограде в Октябрьские дни. Он умел передать состояние тех дней и воссоздать далекие и дорогие для нас образы незабываемого времени.

Учился у нас и комендор орудия с «Авроры» М. Маслов, бывший при орудии в памятную ночь, когда выстрел с «Авроры» возвестил наступление новой эры. В капитанской фуражке, с бледным одутловатым лицом, среднего роста, в неизменном клеше — таким помним мы, вхутемасовцы, этого скромного человека. Учился он на графическом факультете. Каждую годовщину Октября Маслов занимал почетное место в президиуме рядом с другими участниками Великой Октябрьской революции. Тихим голосом он рассказывал нам о событиях, активным участником которых был.

Совсем иным был Сергей Минаев — студент архитектурного факультета. Высокий, стройный, в лихо надетой на голову фуражке, во френче и галифе военного покроя, в щегольских сапогах. Красивые черные живые глаза, открытая улыбка, неистощимое веселье. Лихой кавалерист, участник войны с белополяками, участник смелого рейда по тылам польской армии, чудесный рассказчик, неистощимый на выдумки и проказы, он был, как говорится, душою общества.

Среди этой группы студентов были и Илья Френкель, ставший впоследствии известным поэтом, — автор слов популярной в годы войны песни «Давай закурим» — и Александр Афонин. Они были не намного старше нас, самых юных из числа вхуте-

масовцев, но мы относились к ним с особым почтением. И тот и другой — сыновья старых большевиков.

Совсем мальчишками Афонин и Френкель в Октябрьские дни принимали участие в боях на улицах Москвы.

Бродя с кем-либо из них по московским улицам, мы живо рисовали себе картины Октябрьских дней в Москве: вот здесь стояли орудия красногвардейцев, а вот отсюда засевшие юнкера вели огонь по наступавшей Красной гвардии.

Афонин, болезненного вида, худенький шатен, с неизменными очками на усталых глазах, отличался особой душевной скромностью и теплотой.

Учился он на текстильном факультете, а жил в здании бывшей Городской думы. В этом здании в ту пору помещался Мосфинотдел, и квартира была дана отцу Афонина, исполнявшему обязанности начальника Мосфинотдела.

Комсомолец с большим стажем, он всегда принимал активное участие в общественной жизни института и пользовался уважением и доверием.

Годы после Вхутемаса разлучили нас, и мы редко встречались. В тревожное военное время, в первые дни Великой Отечественной войны Афонин ушел на фронт, где и погиб на подступах к Москве.

Илью Френкеля на первом курсе чаще всего можно было встретить на комсомольском собрании и в коридоре института. Черные волосы, бронзовый загар лица, острые умные глаза, красная рубаха, подпоясанная узким ремешком, и лихо надетое на затылок кепи. Весь его облик был не только необычайно колоритен, но и чрезвычайно типичен для комсомольского работника тех лет.

Возможно, Френкель, как и большинство из нас, окончил бы институт, получил диплом и стал художником, если бы страсть к поэтическому делу не взяла у него верх.

В «Юношеской правде», а несколько позже и в «Юном ленинце» начали все чаще появляться стихи за подписью И. Френкеля. Одно из первых стихотворений, посвященное краснофлотцам, нам особенно нравилось, а другое, под названием «Будь ленинцем», окончательно утвердило нас в мнении, что Илья — настоящий поэт, каким он и стал в дальнейшем. Так решительно и бесповоротно разошлись его пути с изобразительным искусством.

Евгений Ильин, поступивший в институт значительно позже нас, чем-то был похож на Афонина и Френкеля.

Его семья — семья революционных традиций. Отец — большевик, подпольщик, работал в Самаре как до Октябрьской революции, так и после.

Жизнь у Ильина сложилась особо романтично. В 1918—1920 годах он активно работал в комсомоле, рано вступил в партию. Он — участник гражданской войны: худощавым подростком

ушел добровольцем на фронт, дрался с белополяками, попал в плен, бежал.

Будучи студентом, Ильин всегда вызывал к себе симпатии. Он был в те годы особенно хорош — выше среднего роста, с густой шевелюрой непокорных волос, с тонкими чертами лица, с красивыми карими глазами.

Живопись его всегда отличалась тонкой гармонией. Живописное дарование было несомненным. В послеинститутские годы он, один из первых вхутемасовцев, взялся за ответственную советскую тему. Его картина «Трипольская трагедия», несмотря на ряд недостатков, вызвала интерес.

Совсем особняком стояла группа вхутемасовцев, начавших свою учебу уже в 1918—1920 годах. Получая скудный паек, занимаясь в нетопленных полуразрушенных мастерских, эти люди, полные энтузиазма, «воевали за становление нового искусства».

Безусые и ничего не умеющие, они были полны желания своими неопытными, неловкими руками создавать новое пролетарское искусство. Они решительно и бесцеремонно брали на себя задачу разрушения всего старого и на развалинах его — созидания нового. Но не это, прежде всего, вызывало к ним наше пристальное внимание. Их авторитет поднимало то, что они видели Ленина, принимали его у себя в общежитии и даже разговаривали с ним.

В. Арманд, которая знала Владимира Ильича и Надежду Константиновну еще до института, Н. Полуэктова, П. Лямин, А. Кашина, Н. Красильников, С. Колыбанов, А. Кельмишкайт, А. Носкова, Л. Райцер, С. Сенькин — все они свидетели памятной страницы в истории Вхутемаса. Это они беседовали и даже спорили с Лениным.

Едва ли не самым значительным был выпуск 1927 года.

В коридорах Вхутемаса торжественная обстановка. Возле аудиторий виновники торжества — дипломники.

Вот Порфирий Крылов в новой косоворотке.

Рослый, атлетического сложения, с густой шапкой волос мелкими завитками, похожий на негра Арон Ржезников в неизменном свитере, вечно улыбающийся.

Вокруг него всегда толпа почитателей — его обычное окружение. Многие из нас склонны видеть в нем живописного «мессию», да он и сам почти убежден в этом.

Он хорошо, уверенно рисует и пишет, форма у него крепкая, точная. Его портрет «Старик в голубой рубахе», посланный на Парижскую выставку, упрочил его положение.

Сейчас Ржезников несколько смущен и озадачен, его дипломная вещь «В мастерской» и ряд других вещей имели неожиданный резонанс. С одной стороны, восторги, а с другой — резкая непримиримая критика.

Еще не так давно (прошлым летом) в Чернигове на берегу реки Стрижень, где для нас был своеобразный Барбизон, Ржезников, окруженный группой студентов-почитателей, писал свою дипломную вещь.

Все мы, без исключения, были в восторге, его вещь нам всем казалась верхом совершенства. М. Хазанов, Г. Тарасевич, С. Раевский на его картине выглядят как живые, рисунок, как нам казалось, безукоризнен.

Интерес и уважение к Ржезникову вызвано у нас не только тем, что он лучше всех нас, съехавшихся в черниговский Барбизон, рисует и пишет.

Когда-то, еще до Училища живописи, ваяния и зодчества, где Ржезников пробыл недолго, он занимался у занесенного судьбой в Чернигов, окончившего Академию художника И. Рашевского, которому и был обязан крепким рисунком и реалистичностью формы. Несколько позже, в 1918—1920 годах, он занимался формальными исканиями, был чистой воды абстракционистом и, как утверждал сам Ржезников, зайдя в тупик, осознал необходимость возвращения к реалистическому языку выражения.

Теперь у Арона Ржезникова свой метод, названный им методом живописного натурализма. Он считал, что натуралистическая форма, оснащенная достижениями лучших импрессионистов в области цветовых исканий, и будет единственным методом для художника.

Все это, взятое вместе, рисовало нам Ржезникова как художника мыслящего, способного создать собственную теорию и творческий метод. И мы, зеленые юнцы, видели его окруженным ореолом первооткрывателя новых «живописных земель».

На дипломной выставке вещи А. Ржезникова и П. Крылова висели в одном зале и были диаметрально противоположны.

Работы Крылова были исполнены в широкой живописной манере. Хорошо запомнились портрет рыжеватой женщины, который он выставлял и в дальнейшем, прекрасные натюрморты, и особенно выделялась его дипломная вещь — «Собрание комсомольской ячейки», написанная густо, темпераментно, артистично.

У Ржезникова вещи были строже и была в них какая-то скованность, но в ту пору мы этого не склонны были замечать.

Толпившиеся в коридорах «болельщики» резко раскололись на два лагеря — одни считали лучшим Крылова, другие Ржезникова, и те и другие энергично, с юношеским азартом спорили о преимуществах одного перед другим.

М. Чирков — типичный славянин, с копной льняных волос на голове — защищает диплом картиной, которую помимо всего прочего он делает по заказу изоотдела Наркомпроса к юбилейной выставке. Действие происходит в помещении телеграфа на прифронтовой станции. Вещь Чиркова выделяется на выстав-

ке дипломников. Фигуры написаны хорошо, жаль только, что в картине много чернот.

Для многих гвоздем выставки кажется Надя Кашина. В ее работах есть что-то от Матисса и Сарьяна и в какой-то мере от персидских миниатюр. Она только что вернулась из Средней Азии, свет, открытые краски, плоскостное решение формы, экзотика нарядов. У нее свой круг почитателей.

Здесь же работы И. Сычева, С. Маркина и, наконец, Е. Давидовича.

Е. Давидович — художник совсем иного плана. Он весь — на дрожжах Музея новой западной живописи. В его вещах есть и Пикассо, и Дерен, и Боннар.

Он бородат, с гривой волос, которой мог бы позавидовать любой протодьякон. Одет он всегда сверхоригинально, с художественной небрежностью, не причесан, походка разболтанная: переваливается из стороны в сторону.

Часто в трамвае или на улице его принимают за подвыпившего попа и вслед ему говорят обидные вещи, но детская наивная улыбка и умение хорошо смеяться располагают к нему и смягчают первое отрицательное впечатление.

Всех его вещей я не помню. В основном, темы его работ — уличные сценки, продавщицы цветов, уходящие вдаль туманные осенние улицы.

Возле мастерской Р. Фалька шум и оживление.

Центр внимания — молодой красивый человек в безукоризненном костюме: на нем модные полуботинки, короткие брюки. Он говорит звучным голосом, сильно налегая на «о», громко жестикулирует, его речь густо пересыпана шутками; он ни минуты не стоит на месте: встряхивает головой, приводя тем самым в порядок замысловатую прическу, пританцовывает, мастерски отбивает чечетку. Это — Федор Богородский, его вещи мы знаем, он уже выставляется не первый год.

«Беспризорные» Богородского, отмеченные М. Нестеровым и А. Луначарским, привлекли внимание посетителей на одной из выставок АХР, хотя к АХР мы все относились отрицательно. Вот «Бубновый валет», «Четыре искусства» — они нам кажутся куда современнее, ближе к искусству.

Что же привело Богородского теперь в стены Вхутемаса? Оказывается, несколько лет назад он занимался в мастерской А. Архипова, бросил, а теперь получил разрешение после большого перерыва защитить диплом. В качестве дипломной работы он дал «Прачку».

Наконец наступила долгожданная минута — предметная комиссия начинает обход. Сегодня особенно торжественно — ожидается А. В. Луначарский.

Диплом этого года привлекает особое внимание — на нем будут присуждены заграничные поездки.

Каждый гадает — кому выпадет эта большая честь.

Кто-то из членов предметной комиссии, выйдя из зала, где подводятся итоги просмотра и выносятся решения, сообщил томящимся конкурентам, что на заграничную поездку баллотируются П. Крылов, А. Сычев, Н. Кашина и М. Чирков.

Нам, поклонникам Ржезникова, это кажется вопиющей несправедливостью. Шумно возмущаемся, протестуем, пишем письмо на имя председателя комиссии, собираем на нем подписи. Мы склонны усматривать в решении предметной комиссии предвзятость и зажим по отношению к Ржезникову.

Энергичный и смелый Федор Богородский решительно входит на заседание предметной комиссии, как об этом мы узнали несколько позже, и ставит вопрос своеобразно и безапелляционно: «Мне не нужны средства на поездку за границу, они у меня есть, я имею государственные заказы. Прошу вас поддержать мою кандидатуру на поездку пятым, мне нужно ваше решение и больше ничего».

Так как дипломная вещь Богородского была из числа отмеченных, профессора, обменявшись мнениями, пошли навстречу его просьбе и внесли его в список представленных к заграничной командировке.

Шумно приветствуем Богородского, нам всем он нравится. В нем чувствуются широта русского человека, обаяние, и каждый из нас поздравляет его от души.

В итоге из этого выпуска поехал за границу один лишь Богородский, исключительно благодаря своей настойчивости. Он отправился туда вместе с Г. Ряжским.

Богородский один из немногих, кому по командировке Вхутемаса удалось побывать за границей.

По возвращении в Москву в зале Музея изобразительных искусств была развернута выставка его заграничных работ. Здесь же и сам Богородский в ультрамодном костюме. Он стал несколько солиднее, но держится общительно, по-прежнему приветливо, рассказывает нам о Париже, о своих встречах, о жизни на Капри и о том, как он писал Алексея Максимовича Горького. Рассказывает так красочно и увлекательно о парижских кабачках, о Монмартре, о встречах с художниками, что мы готовы слушать его до утра.

Богородский, как никто, любил смеяться. Он ценил смех, шутку. Юмор, присущий Богородскому, был неотделимой чертой его характера. Самое серьезное дело он пересыпал искрометными шутками, забавными сценками, курьезными рассказами. Вполне закономерным был его живой интерес к нашим сатирическим выступлениям — сначала на страницах московской стенной газеты, а потом на эстраде с программами сатирического обозрения. Он находил время еще задолго до спектакля познакомиться с текстом, давая свои замечания, усиливая остроты, не пропуская ни одного спектакля.

Даже лежа в больнице, сознавая безвыходность своего по-

ложения в последние дни своей жизни, он не переставал шутить, поражая своим мужеством тех, кто не знал Федора Богородского.

Отказ А. Ржезникову в заграничной командировке был для нас, его поклонников, удручающим и несправедливым. Возмущение наше дошло до предела, когда мы получили повторный отказ в ответ на нашу петицию в предметную комиссию.

В квартире № 86 на Мясницкой мы и «обойденный», как нам казалось, Ржезников обсуждаем события минувшего дня, стараемся, как можем, поддержать его, утешить, ободрить.

Совершенно непроизвольно происходит какое-то объединение вокруг него нескольких безусых горячих голов, которые готовы безраздельно видеть в Ржезникове непризнанного гения, идти за ним хоть на край света, следовать его методу, его советам.

Не лишне заметить, что наше почитание Ржезникова несло в себе много отрицательного. Сосредоточив все свое внимание на Ржезникове, мы невольно развивали в нем чувство предельной самоуверенности и непогрешимости. Он действительно начинал верить в свое совершенство, что сильно тормозило развитие этого незаурядного художника.

На вечере в Союзе художников, посвященном десятой годовщине победы над фашизмом, были выставлены вещи Ржезникова, особенно выделялись его работы вхутемасовского периода, и было ясно видно, какого замечательного художника с большим будущим мы потеряли в дни Великой Отечественной войны.

Когда кончались занятия

Ничем внешне не примечательный дом — в нем расположено общежитие, где живут студенты-рабфаковцы. Восьмиэтажное здание с балконами на каждом этаже, лифт не работает.

Это общежитие было приютом для студентов, местом отдыха, проказ, местом, которое в какой-то степени формировало будущего художника.

Среди рабфаковцев, живших в общежитии, интересной фигурой был Борис Ковынев — поэт с несомненной искоркой. Его вещи печатались в журнале «Недры» и в других журналах. Он часто выступал на студенческих вечерах.

Особенно прославленной была квартира № 86. Из нее шли неистощимые в своей выдумке розыгрыши, шутки, проказы. Именно эта квартира в значительной степени наложила отпечаток на таких художников, как А. Ржезников, А. Каневский, Кукрыниксы.

Восемьдесят шестая квартира была в какой-то степени легендарной, о ней говорили всегда с повышенным интересом, и часто правда о ней чередовалась с вымыслом.

Пять часов вечера, у 86-й квартиры длинная очередь, спускающаяся на два этажа, здесь стоят длинноволосые, неряшливые живописцы, подтянутые, опрятные графики, скульпторы со следами глины и гипса на ногах. Все они держат, кто под мышкой, кто перед собой, свои произведения. На лицах у всех написаны волнение и надежды.

В 86-й квартире «комиссия» во главе с И. Э. Грабарем просматривает работы студентов с целью приобретения их для Третьяковской галереи и других музеев страны.

Кто довольный, а кто огорченный, выходят студенты один за другим из 86-й квартиры. У значительной части претендентов комиссия приобрела вещи — они сияют от счастья. Сразу же определялись цены, и завтра счастливцы должны сами доставить свои вещи в Третьяковку, где помещалась закупочная комиссия.

Шумно и весело вечером в общежитии, почти в каждой квартире идет студенческая пирушка, звенят гитары и слышится веселое пение.

На другой день, кто на трамвае, а кто на извозчике, везут счастливцы в Лаврушенский приобретенные Игорем Грабарем работы.

Каковы же были их негодование и растерянность, когда секретарь закупочной комиссии сказал: «Что вы, Игорь Эммануилович уже второй месяц за границей. Здесь явно какое-то недоразумение».

Розыгрыш удался на славу, и долго еще потешались над теми, кто так бесхитростно на него поддался.

Были розыгрыши и более злые, обидные, но молодость не злопамятна, обида быстро забывалась. И вчера пострадавший сам принимал участие в следующем розыгрыше, с удовольствием и без всякой злобы рассказывая о том, как его поймали на удочку.

Наиболее неистощимыми, в смысле выдумки, были два закадычных друга — Каневский и Ржезников и, конечно, Кукрыниксы.

А сколько изобретательной выдумки, остроумных находок было в «Арап-отделе» — так назывался отдел сатиры и юмора в нашей стенгазете.

Шаржи и карикатуры всегда остры и злободневны.

Все знали о страсти Петра Ивановича Львова без конца показывать всем желающим свои замечательные рисунки. Кстати, не лишне заметить, как мало оценен этот замечательный рисовальщик-новатор, создавший целую школу советских графиков. И вот в «Арап-отделе» веселая карикатура: Львов на Трубной площади показывает папку с рисунками извозчикам и лошадям. Извозчики в восторге, лошади ржут от доставленного удовольствия.

Каждый номер стенгазеты — событие, его появления ждут

с нетерпением. В изготовлении очередного номера принимают участие десятки студентов.

На графическом факультете учреждена профессорская кафедра: преподаватели и студенты гадают... кто будет во главе?

На эту тему яркая злая карикатура: в центре листа кафедра, к ней рвутся, прилагая все усилия, Н. Купреянов, П. Львов и П. Митурич. Студенты довольны, преподаватели обиженно обходят стенгазету стороной.

На производственном факультете был забавный студент Федя Крестин — постоянный объект студенческих шуток.

Кто-то из Кукрыниксов сделал на него небольшую карикатуру, где в Феде было подчеркнуто все: и его улыбка до ушей, и присущая ему встрепанность, и какая-то неловкость, свойственная ему. Особенно хороша была подпись:

«Уши врозь, дугою ноги
и как будто стоя спит».

Усы и бороду в ту пору носили немногие, да и то великовозрастные. Поэтому борода М. Шапшала всегда была предметом разговоров и обсуждений. С каким восторгом мы любовались в газете изображением Шапшала, где он, запутавшись в непомерно длинной бороде, тщетно пытается из нее выбраться.

Особенно грандиозна была выдумка Кукрыниксов.

На одном из последних институтских вечеров все здание Вхутеина, все коридоры, лестницы были превращены в город с улицами и переулками.

Лестничный пролет был в виде небоскреба, везде висели наименования улиц. Особенно смешило нас название возле мастерской А. Древина — «Древинский тупик».

На вечере ходили гадающие цыганки, здесь же поводырь с медведем, попугай вытаскивает счастье, истошно завывает «Разлуку» шарманка, и в клетке кудахчет курица, ушедшая после вечера, как презент, к Каневскому.

Неистощимым весельем и красочностью отличались студенческие вечера тех лет. Почти все, за небольшим исключением, они приурочивались к знаменательным датам и после торжественной части заканчивались концертом. Танцев не было совершенно — «танцулек», как в то время презрительно называли танцы, стены Вхутемаса не знали. Присутствие на вечерах «под градусом» исключалось.

За все время моего пребывания в институте не было отмечено ни одного случая пьянства, хотя, казалось бы, такие случаи вполне возможны.

Вся наша жизнь протекала на фоне бушующего нэпа: на каждой улице — широкое разветвление пивных, ресторанов и прочих подобных заведений. Но молодежь тех лет как бы имела особый иммунитет, исключающий пьянство.

Частыми гостями у нас на вечерах бывали поэты, реже прозаики. Здесь многим мы были обязаны Ивану Рахилло, студенту живописного факультета и комсомольскому писателю, как их в то время называли.

Неизменным успехом сопровождались выступления старейшего поэта И. Рукавишникова. Читал он стихи как-то нараспев, по-особому, его чтение напоминало древних сказителей и окрашивалось в былинно-эпические тона.

Строгий, подтянутый Г. Шенгели привлекал особое внимание, когда выходил на край авансцены, декламируя строки, посвященные «Броненосцу „Потемкину"».

Бывало красного голландца
Видали в синеве морей,
Тогда Одесса и Констанца
Его боялись батарей.

Спокойно, негромким голосом читала отрывки из «Виринеи» Л. Сейфуллина. К ней мы относились с особым уважением, с ее вещами мы хорошо знакомы. Она для нас — представитель передового отряда молодой советской литературы. Ее имя стоит рядом с именами Вс. Иванова, В. Шишкова, Л. Леонова. Невысокая, коренастая, скромно одетая, с большими черными выразительными глазами, с присущей ей прической, где челка падает почти на глаза, прикрывая высокий лоб. Она так похожа на свои портреты и обладает такой ярко выраженной внешностью, что ее не трудно, встретив на улице, узнать безошибочно.

Частыми гостями у нас бывали А. Безыменский. М. Голодный, Н. Асеев, С. Кирсанов, И. Уткин, но над всеми возвышался, конечно, В. Маяковский, его успех был несравним ни с чем.

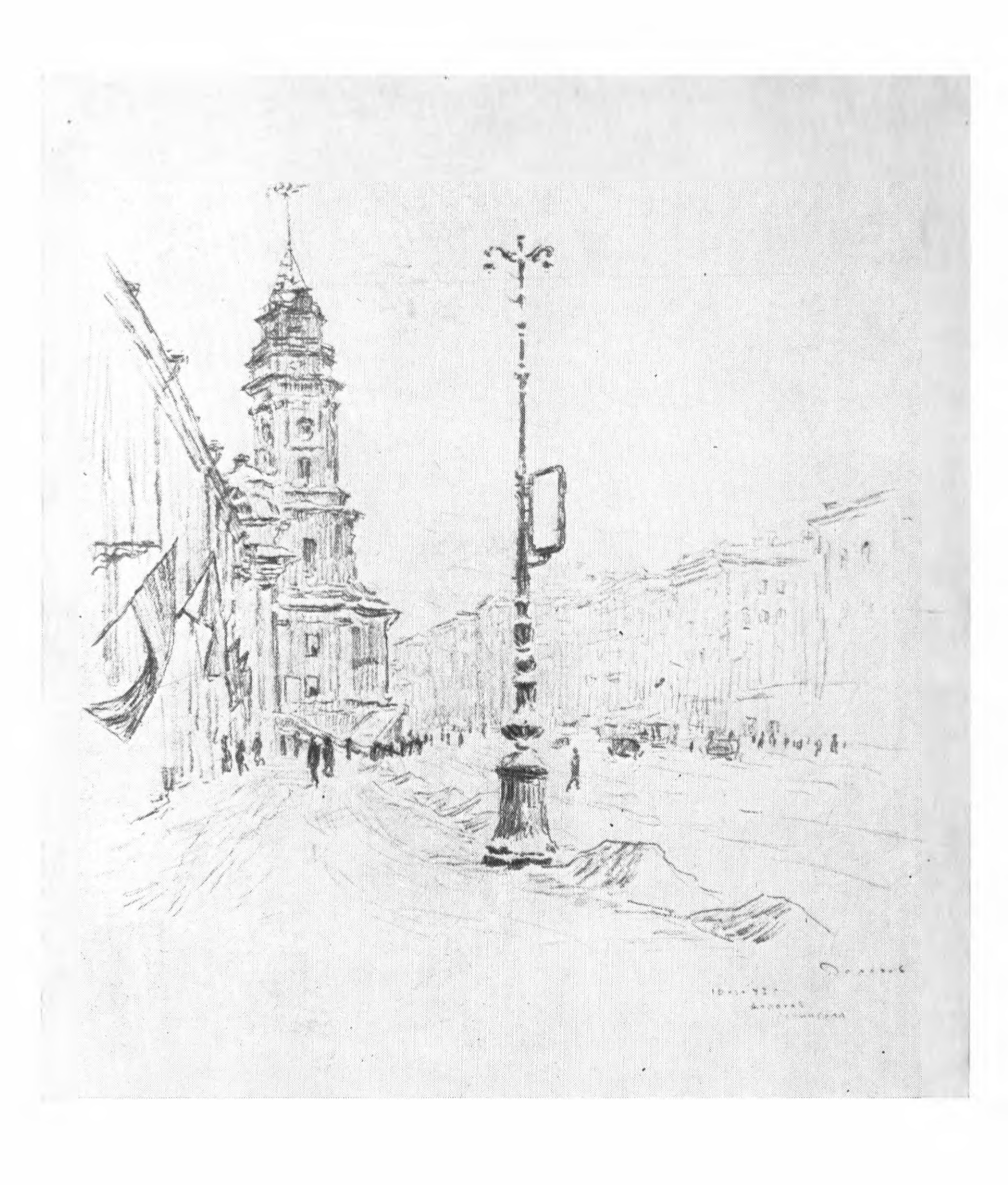
Году в 1924-м у актеров-чтецов широкое развитие получила новая для того времени форма — литературный монтаж, или, как его называли, «литмонтаж». И одним из зачинателей этого жанра был молодой тогда актер Театра имени Мейерхольда — В. Яхонтов.

Мне было поручено пригласить его на один из студенческих вечеров. Рано утром явился я в театр. Шла репетиция. Ко мне вышел интересный, стройный блондин с небрежно зачесанными прядями длинных волос. Был он в майке и широких трусах с розовыми полосками. Если не ошибаюсь, у них были в ту пору занятия по биомеханике.

«Что же мне прочесть вхутемасовцам?» — сказал Яхонтов, сразу дав согласие на выступление. Надо сказать, что тогда у нас охотно выступали все, кого мы приглашали.

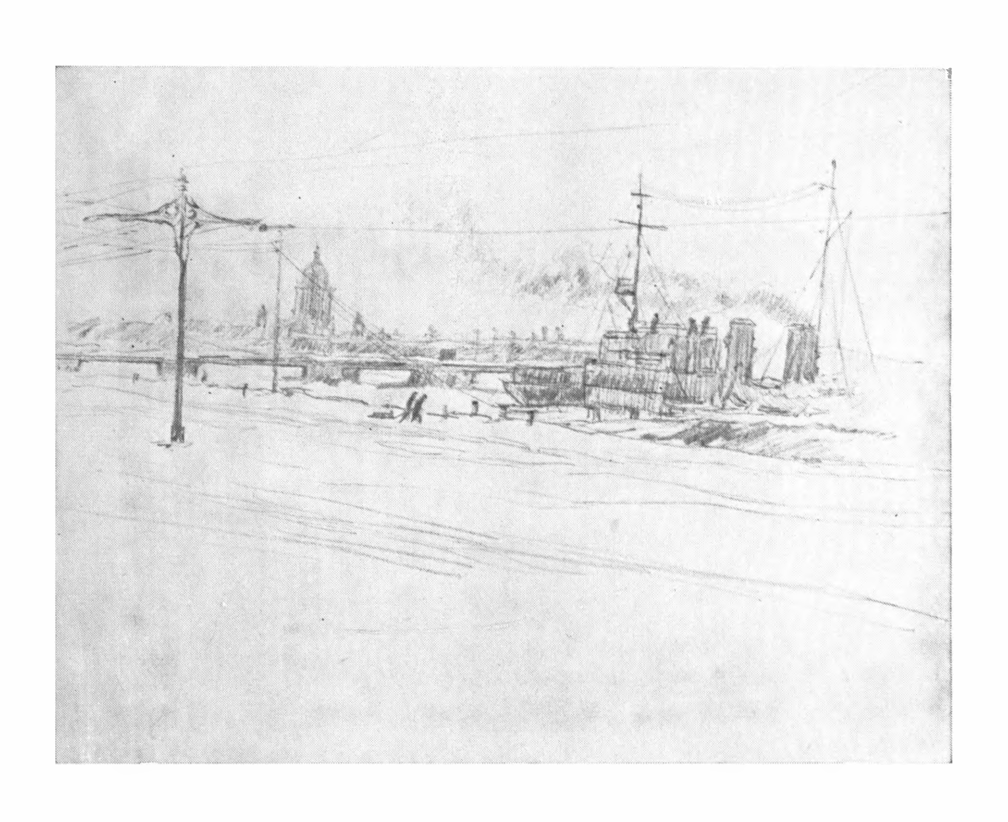
«Проверю-ка я на вас свою научную работу. Прочту я вам литмонтаж по «Капиталу» Маркса».

И когда прочел, стекла декоративного зала, где происходил вечер, дрожали от рукоплесканий. Правда, в литмонтаж вхо-

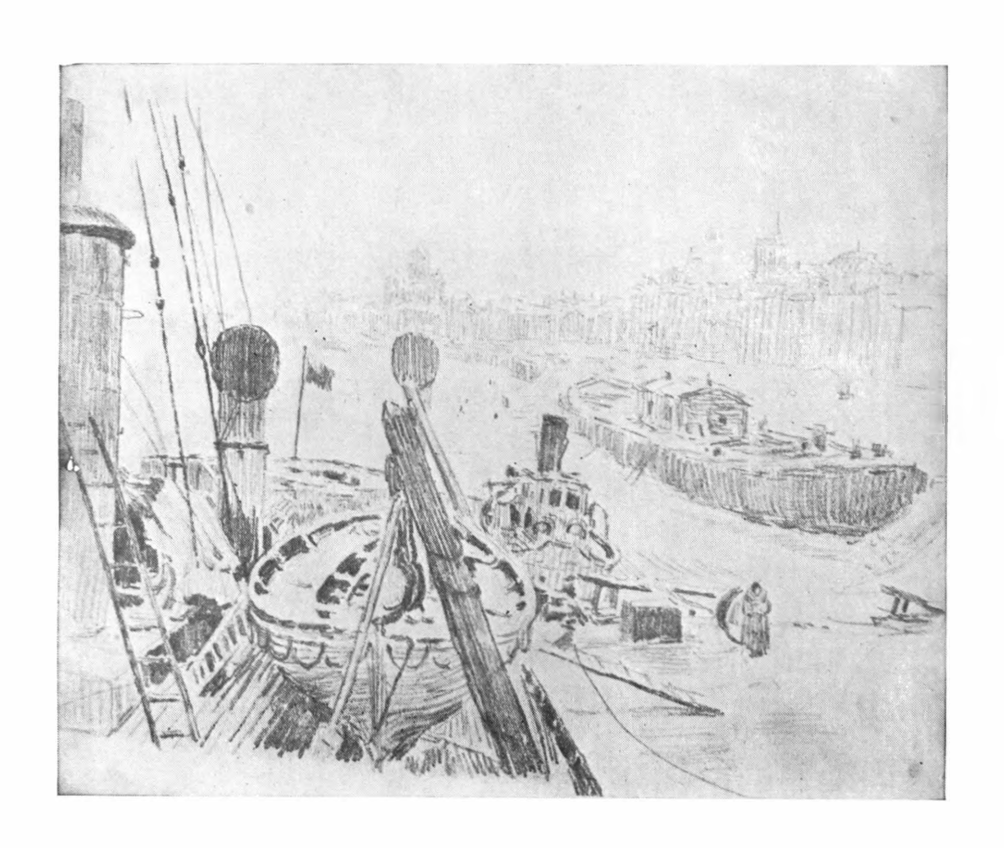


17

ЛЕНИНГРАД. НЕВСКИЙ В ДЕНЬ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ 19 ЯНВАРЯ. 1943

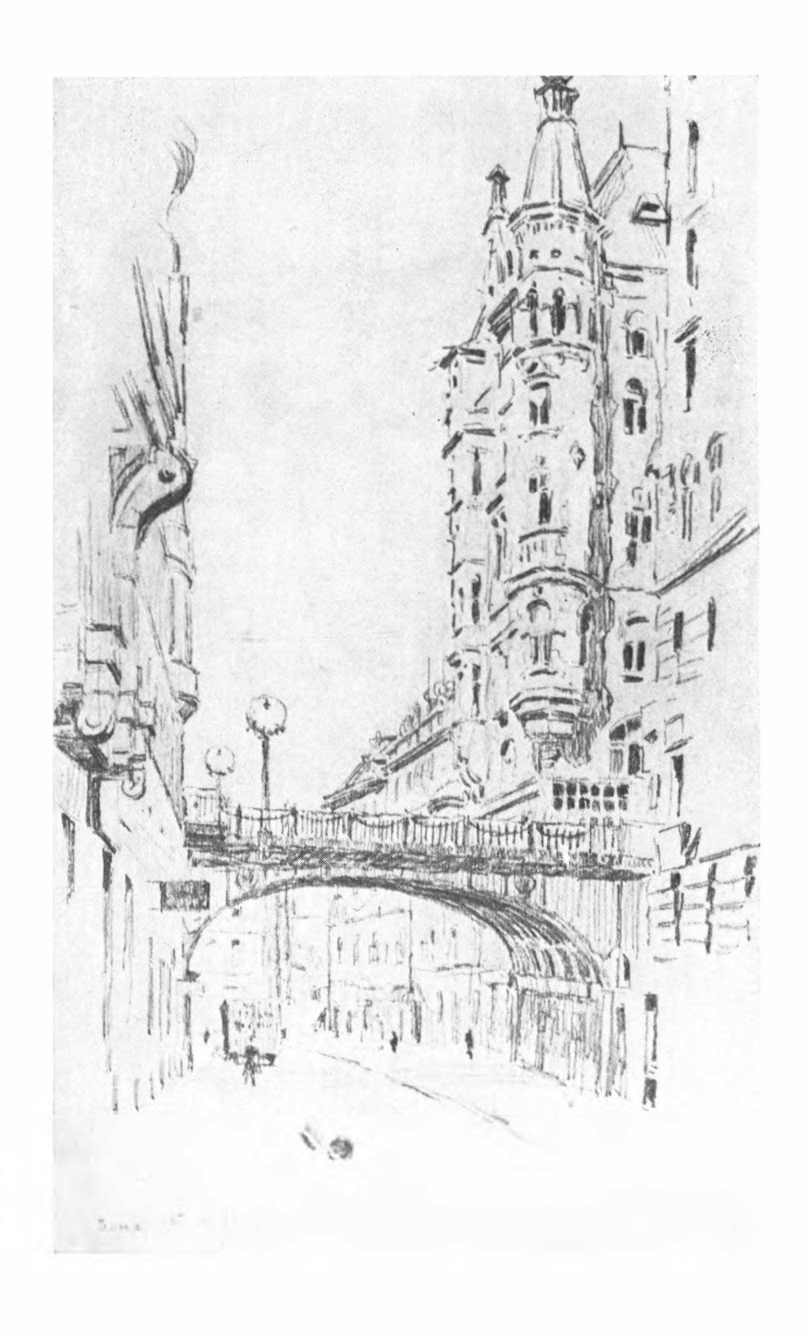


18
ЛЕНИНГРАД. МОРОЗНОЕ УТРО. НАБЕРЕЖНАЯ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА. 1943



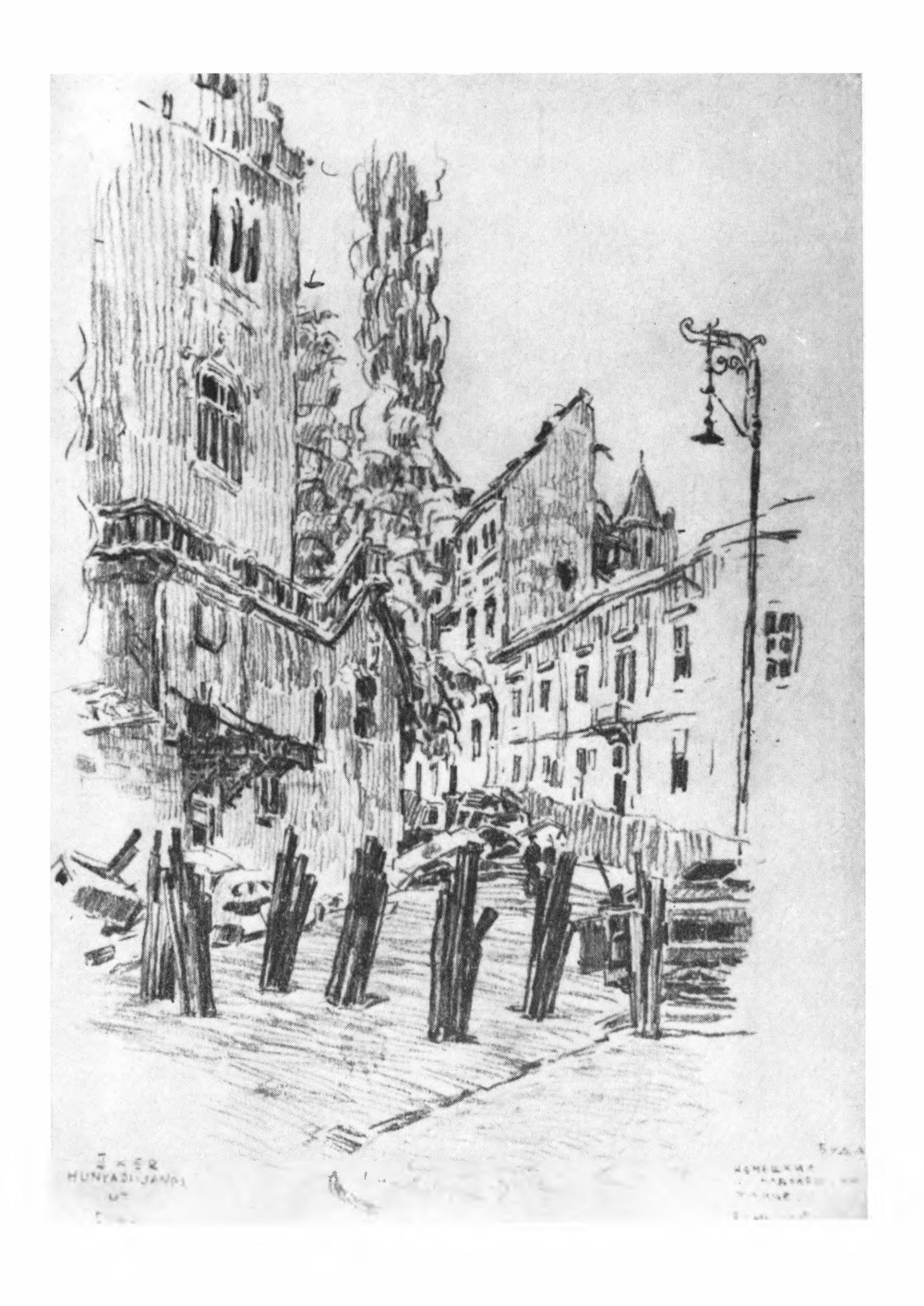
19

ЛЕНИНГРАД. НА БОРТУ ЭПРОНОВСКОГО СУДНА «СИГНАЛ». 1943



20

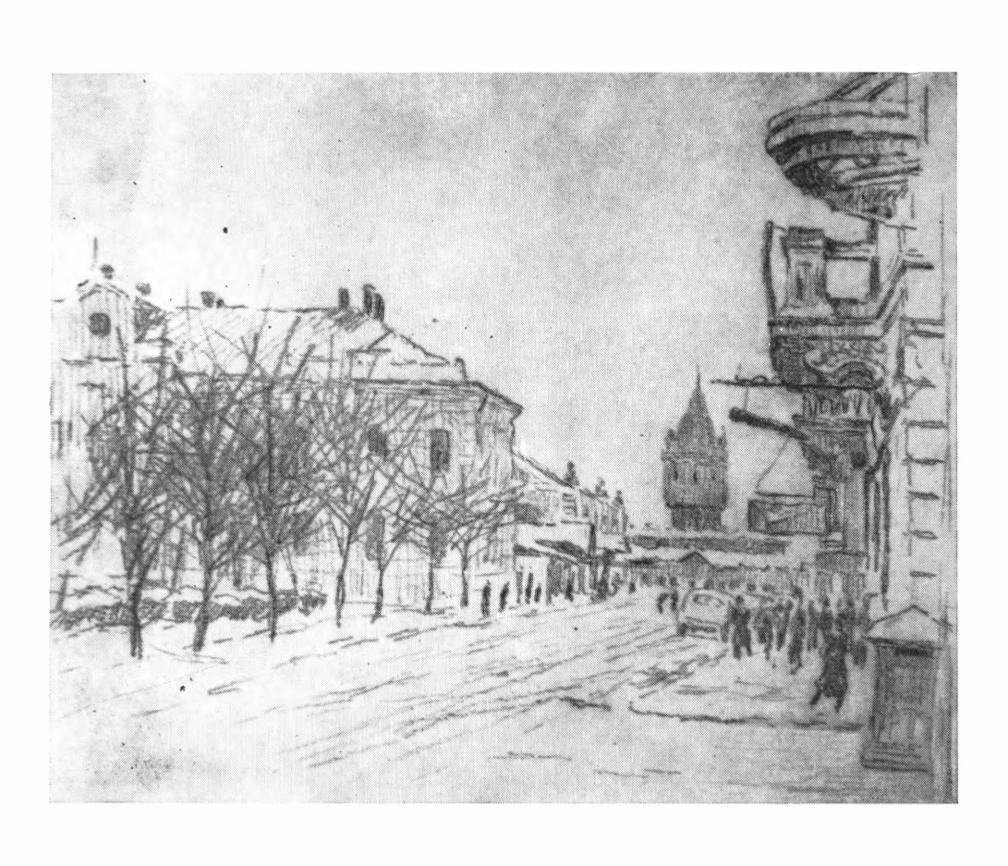
ВЕНА. МОСТ НА ВИПЛИНГЕРШТРАССЕ. 1945



21
БУДАПЕШТ. БУДА. НЕМЕЦКИЕ НАДОЛБЫ НА УЛИЦЕ. 1945



22
ПЕРЕКОП. МОРСКАЯ ПЕХОТА. 1942



23
РУМЫНИЯ. ТУРНУ-СЕВЕРИН. ул ТРОЯНА. 1944



24

ЛЕОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (ПРОШЕЛ ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БУДАПЕШТА). 1945

дили не только отрывки из «Капитала» Маркса, но текстам из этого произведения в монтаже отводилось все же преобладающее место.

Строгий, трудноусваиваемый материал, облеченный в художественную форму исполнения, становился легко доступным, понятным всем.

Непременной участницей наших вечеров была всегда жена одного из наших студентов — Ольга Ковалева, замечательная исполнительница народных песен.

Незабываемыми были вечера, где выступали студенты Института народов Востока. С дикими гортанными криками, в легких сапожках, в черкесках, как крылатые черные птицы, неслись они в танце, поражая страстностью и темпераментом исполнения.

Особняком стояли вечера гимнастов и физкультурников. Здесь были вольные движения, работа на снарядах и они же включали в себя шуточные выступления. Большим успехом сопровождался номер фехтования, больше походивший на пародию дуэли рыцарских времен. Партнеры, одетые в костюмы, мало подходящие для дуэли, дрались на рапирах. Одним из них был Иван Рахилло, отличавшийся хорошим ростом и помимо всего обладавший сценическими данными и качествами комического актера. Общий смех вызывал момент, когда Рахилло хватал за конец рапиру противника и на ней начинал точить свою шпагу.

Хорошим гимнастом, выступавшим на физкультурных вечерах, был Е. Абалаков. Среднего роста, блондин, с широким румяным лицом, вечно смеющимися глазами. У него было два призвания — талантливый скульптор, он был не менее одаренным спортсменом. Впоследствии Абалаков стал известным альпинистом. Ему принадлежит честь возглавлять подъем на Памир, на пик Сталина. В годы войны я встретил его на Кавказе, где он в форме лейтенанта Советской Армии инструктировал лыжников-альпинистов, которых готовили для борьбы с фашистами на кавказских перевалах.

Рано оборвалась жизнь этого полного сил художника и спортсмена. И вряд ли он предполагал, что его широко известная скульптура «Лыжник» станет в качестве надгробия на его могиле.

Не лишне вспомнить о том, как серьезно в те времена была поставлена физкультурная работа у нас в институте, правда, перед другими вузами у нас были большие преимущества. Ни один из них не обладал таким хорошим, по тому времени, физкультурным залом.

Недаром у нас была одна из лучших в Москве группа гимнастов, возглавлял которую и душою которой был студент арфака В. Вольфензон.

Здесь же проводились и первые волейбольные соревнования.

Во Вхутемасе была самая лучшая команда волейболистов из студентов. В нее входили: Я. Ромас, Г. Нисский, А. Лаптев, А. Накаряков, С. Минаев, С. Болдырев и другие.

Г. Нисский, известный своей физической подготовкой, занимал центральное место. Только затем, чтобы посмотреть его виртуозную игру, собирались болельщики со всей Москвы. И он действительно был хорош, спасая всегда с редким темпераментом и огнем самые «мертвые» мячи.

Нисский и Вхутемас неотделимы. Талантливый художник и чудесный спортсмен. Это создавало ему особый ореол и окружало особой славой. Это он жал стойку и висел на одной руке на парапете крыши нового здания Вхутемаса.

Физкультура прочно вошла в наш быт. Целый день в физкультурном зале шли занятия. Создалась группа из преподавателей, занимавшихся физкультурой: В. Фаворский, Н. Вайсфельд, В. Тоот и другие.

У нас же получил закалку ставший впоследствии чемпионом СССР, боксер в тяжелом весе В. Михайлов.

Наши физкультурные вечера никогда не обходились без шуток и проказ, которые любили все без исключения.

Особым успехом пользовались у нас вечера типа «капустников». Здесь неизменным вдохновителем был Иван Рахилло.

Интересным был цыганский хор, в котором впервые мы познакомились с Ф. Решетниковым, выступавшим в роли цыганки под именем «Охра тертая».

Большим успехом пользовалась у нас танцевальная пара — Костя Молчанов и Саша Морозов. В пачках, мастерски сделанных из газет, они исполняли пародию на танец лебедей. И значительно позже, в 1954—57 годах, тот же А. Морозов с неизменным успехом участвовал в сатирических сценках художников под ежегодно меняющимися названиями: «Вдоль по Масловке», «Выступление и наказание», «Высокое давление».

Талантливыми актерами зарекомендовали себя студент декоративного отделения Г. Бушмелев и студент живописного факультета М. Гуревич, страстный исследователь Арктики,— тот самый Миша Гуревич, бюст которого водружен в МОСХе и который погиб в войну, став Героем Советского Союза. Это он выступал с песней студента:

Есть для всех весна прекрасная,
Только нет ее для нас.
Ах, зачем же мы несчастные
Поступили в Вхутемас.

И кончалась эта песня так:

Судьба моя несчастная
Остался я один,
Учился в Вхутемасе я,
Окончил Вхутеин.

Задолго начинали готовиться вхутемасовцы к праздничным демонстрациям. На декоративном отделении студенты лихорадочно рисуют плакаты, сооружают транспаранты, делают объемных кукол, пишут лозунги. Материалом служили фанера, ткань, проволока, бумага.

Особой подготовки, выдумки и изобретательности требовали карнавальные факельные шествия. И вот мы шумной ватагой, нестройными рядами шагаем к зданию Моссовета. На длинных шестах мы несем чучело капиталиста, сделал его Миша Куприянов (Кукрыниксы). Выполнено оно было очень условно и в то же время необычайно карикатурно. Чучело набито соломой, а вставленная внутрь пружина от матраца делает его подвижным и дергающимся.

Идем с факелами, шествие красочное. Несмолкаемое пение оглашает Тверскую. И, наконец, приходит момент торжественного сожжения чучела капиталиста под дружные крики всех присутствующих.

Интересной была выдумка скульптора И. Чайкова, когда на демонстрацию мы вышли с колоссальным тридцатиметровым драконом. Дракона несли много человек, и он на значительной высоте возвышался над колонной. Дракон был сделан из бумаги, основа его — отдельные пластины, скрепленные между собой шарнирами-петлями. Дракон был оклеен китайской цветной бумагой и на ходу шуршал и изгибался кольцами наподобие змеи.

Весь институт вместе с педагогами выходил в полном составе на любые демонстрации и представлял в ту пору внушительное зрелище.

Неистощимое количество песен бытовало в стенах Вхутемаса. Но особенно любили мы песню тех лет, которую можно услышать и теперь, она прочно вошла в жизнь, оказалась бессмертной и была посвящена Красной Армии.

Ведь от тайги до Британских морей
Красная Армия всех сильней!

Запевал кто-нибудь из числа наиболее голосистых, а все остальные подхватывали припев:

Так пусть же Красная сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы неудержимо
Идти в последний смертный бой!

Никогда и нигде не было такого количества споров и разговоров, как это было в период учебы во Вхутемасе. Спорили о судьбах искусства, о назначении и месте художника, о преимуществах той или иной живописной школы. Решительно и

безапелляционно отрицались целые этапы и школы, ниспровергались авторитеты. Но значение и авторитет Александра Иванова, В. Сурикова, М. Врубеля были незыблемы. Их ставили в один ряд с Рембрандтом, Веласкесом, Тицианом.

Передвижники, и даже И. Репин, у большинства не пользовались авторитетом.

Из современных художников наибольшим признанием пользовались П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, В. Фаворский.

Выставки «Бубнового валета» и персональные П. Кончаловского воспринимались как событие. Вспоминается один из разговоров тех лет между Кончаловским и молодыми художниками. Петр Петрович говорил так: «...на какую широкую дорогу выводили наше искусство Рокотов, Венецианов, с одной стороны, и Александр Иванов, с другой и на тебе — передвижники свернули наше искусство с большой дороги на проселочную». Все это он говорил с чувством большой убежденности, и несомненно, в значительной степени высказывания такого крупного художника, каким был Кончаловский, формировали верования молодых художников.

Особенно ожесточенными были споры с теми, кто вообще начисто отрицал живопись-картину, считая, что пролетариату это ни к чему и что искусство живописи — «буржуазный пережиток». В своем большинстве это были студенты с производственных факультетов, часто люди малоодаренные, хотя про некоторых из них этого нельзя было сказать.

В те годы бытовала ошибочная теория, что студенты — выходцы из рабочих и крестьян, а их больше всего было в институте, должны идти только на производственные факультеты.

Производственными факультетами считались текстильный, керамический, деревообделочный, металлообрабатывающий и, в какой-то степени, полиграфический и архитектурный.

Был у нас секретарем комсомольской ячейки некто Пойдо, который вызывал комсомольцев поодиночке в бюро и ставил перед ними вопрос так: раз ты комсомолец, ты должен идти на производственный факультет. И были такие, которые сдавались, хоронили мечту стать живописцем и шли на производственные факультеты. К сожалению, многие весьма одаренные люди изменяли своему призванию, движимые неправильно понятым «гражданским долгом».

Году в 1928-м на страницах газеты «Правда» Михаил Кольцов вынужден был выступить со специальным фельетоном в защиту комсомольца И. Когана, которого в порядке комсомольской дисциплины секретарь ячейки вынуждал отказаться от мысли поступить на живописный факультет.

Не могу не вспомнить о нашем студенческом клубе на Рождественке, где после дня учебы можно было отдохнуть и встретиться с друзьями, где размещались библиотека-читальня и различные добровольные общества, занимавшие в нашей жизни в то время очень большое место. В просторной комнате клуба они как бы выставляли свою работу.

В одном месте уголок отведен обществу «Долой неграмотность», в другом — «Руки прочь от Китая», в третьем — обществу «Друг детей», «МОПРу», «Лиги времени», «Безбожнику» и многим, многим другим. И это не только слова. Большой отряд студентов по линии этих обществ ведет полезную работу вне стен института.

Мне и моим товарищам М. Хазанову, Н. Коршунову, А. Лаптеву, К. Молчанову довелось работать в инспекции по борьбе с детской беспризорностью.

Десятый час вечера. Подтянутые, с чувством большой ответственности, собираемся в полутемном нетопленом помещении. Районы наших действий: Ермаковка, Южный мост и Казанский вокзал — участвуем в облаве на беспризорных детей. С нами — работники роно, детских приемников.

Операция полна неожиданностей. Это нас волнует, и все предстоящее окрашивается в романтические тона.

В районе Казанского вокзала в глубокой темноте спускаемся узкими проходами, по дырам выщербленных ступенек. Соблюдаем тишину. Вспыхивает электрический фонарик. «Ребята, мильтон»! — кричит один из беспризорных.

Груды бесформенного тряпья на глазах оживают. Чумазые, заспанные подростки и совсем дети вскакивают. Некоторые делают попытку бежать, но поздно: мы окружаем их плотным кольцом, берем под руки. Взъерошенный, с черной от пребывания в асфальтовом котле мордашкой паренек вырывается, кусает руку дружинника, царапается. Выводим всех на улицу и эскортируем в один из приемников Сокольнического района.

Среди беспризорных две-три девочки. Одна из них — хрупкий подросток с легко обозначенной грудью, с подведенными черными глазами, с подкрашенными губами, выражая надежду уйти, берет меня вкрадчиво под руку, слегка прижимается и шепчет: «Студентик, отпусти».

Облава проводилась сразу в нескольких местах, и в приемнике полно беспризорных.

Среди них много «старых знакомых», неоднократно проходивших через руки сотрудников приемника, направленных в детские дома, откуда они бежали.

Все они днем занимаются попрошайничеством, мелкой кражей, среди них есть и рецидивисты, состоящие на учете в МУРе.

Операция нашей группы прошла безболезненно. А другим группам было оказано сопротивление. В одном случае были

пущены в ход ножи, одна из дружинниц получила серьезное ранение.

Работа в дружине по борьбе с детской беспризорностью шла по линии общества «Друг детей».

Многие студенты работали в обществе «Долой неграмотность», по линии ликбеза, на фабриках и заводах Сокольнического района.

Работали по линии «МОПРа» и других обществ.

Каждый студент, имея определенное общественное задание, по-особенному выполнял гражданскую миссию, чувствовал себя участником великой созидательной работы.

Перелистывая страницы каталогов ряда выставок последних лет, вижу, сколь значителен «удельный вес» вхутемасовцев на этих выставках. А надо сознаться, что методика преподавания была до крайности хаотична.

Крепких и настоящих знаний в области рисунка, живописи, композиции давалось мало да и считались они в ту пору необязательными.

Рабское списывание с натуры презиралось всеми без исключения, было тяготение к образному обобщению, к выразительности.

Учились в музеях, на выставках, на работах товарищей.

Так чем все же объяснить, что именно из стен Вхутемаса вышло такое количество интересных, разнообразных художников?

К положительным моментам, несомненно, следует отнести верный процесс формирования мировоззрения, идеологии будущего художника.

Воспитательная, политическая работа была на очень высоком уровне. Вопросы морали, поведения — в центре внимания общественности. Партийная и комсомольская организации были сильны и имели большое влияние на разношерстный состав студентов.

Сам состав учащихся, где были люди, опаленные огнем двух войн и революций, большой процент рабочей и крестьянской молодежи, — все это диктовало определенный характер поведения и действий.

Жажда дерзаний, новаторство, свойственное первым годам революции, определяли и формировали идеологию молодежи. Подчинение личных интересов общественным считалось неписаным законом и было обязательно для всех.

Маяковский и вхутемасовцы

Перебирая свой архив — рисунки, газетные вырезки, нахожу небольшой рисунок «Маяковский в гробу», который я привык считать потерянным.

Сологубовский особняк. Барский дом с колоннами. Небо ярко-синее — апрельское. Ампирная лестница. Низкие потолки.

Траурно убранный зал. На невысоком постаменте — гроб с телом Маяковского. Он, как и всегда, строг, подтянут. Высокий лоб обрамляют темные пряди волос. Лежит как живой, цветом лица не напоминает покойника. Только губы неподвижны, сжаты как-то по-особому.

Траурная музыка. Студенты, рабочие, пионеры — нескончаемый поток.

На покойнике хорошо знакомый синий в полоску костюм, ботинки с металлическими подковами.

Опустив голову, стоит Николай Асеев. На лице растерянность, страдание, слезы. Друг, товарищ, подмастерье прощается с учителем — мастером поэтического дела.

Вспоминаю актовый зал бывшей Строгановки. Шумно, весело. У вхутемасовцев в гостях Маяковский. Он читает нам свои новые стихи.

Как бы не замечая сидящего за столом на сцене А. Безыменского, читает:

«Ну, а что вот Безыменский?!
Так...
ничего...
морковный кофе.
Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька,
Этот может.
Хватка у него
моя».

Глаза его тепло смотрят на Асеева, губы расплываются в улыбку.

Кто мог подумать, что через 2—3 года Маяковский будет лежать в гробу, а Асеев встанет у гроба в почетном карауле?

Тишину нарушает глухой удар — это красноармеец, падая в обморок, уронил винтовку. Неизвестный человек с изможденным лицом, перекрестившись, целует Маяковского в холодные губы.

Поодаль стоят М. Кольцов, Б. Ефимов, В. Катанян, Е. Зозуля, Д. Штеренберг. Приходят супруги Л. и О. Брик.

Вхутемасовцы по-особому любят Маяковского — это их юность, знамя, у каждого заветная книжечка стихов Маяковского — «13 лет работы», печатавшаяся в типографии Вхутемаса.

День похорон-кремации. Минуя страшные преграды, прорываемся в ворота сологубовской усадьбы. Стоим в первом ряду

пришедших на гражданскую панихиду. В стороне грузовой автомобиль, оформленный В. Татлиным. Весь — стального цвета, чем-то напоминает военный корабль, выглядит сурово, торжественно.

Поблескивая пенсне, говорит А. Луначарский, отмечая величие поэта, его значение для советской литературы.

С. Кирсанов читает «Во весь голос».

Траурная машина с ярко-красным гробом, как бы ныряя в волнах, медленно пробирается через море голов.

На Волхонке какие-то люди с плакатами. Под одним из них подпись:

«Маяковский выбыл из строя,
Будем работать втрое!»

Неудачная подпись. Хотя рифмованные подписи под плакатами, стихотворные лозунги — это детище Маяковского. Году в 1925-м, когда поэты-мастера включились в работу фабрик и заводов, Маяковский с трибуны, горячо жестикулируя, рассказывал об этом новом для того времени деле, иллюстрируя отдельными примерами.

Пример на тему производительности труда:

«Болтливый растратчик рабочих часов, в рабочее время язык на засов».

О стихотворных строках Н. Асеева рассказывал так:

— Прихожу на электрозавод, висит плакат Коли Асеева:

«Запомни заповедь одну,
С собою в клуб бери жену».

Я говорю: Коля, так не пойдет, не полно, нет точки над «и», надо кое-что добавить.

Оставим твои строчки и добавим мои — тогда будет хорошо и ядовито, пусть читается так:

«Запомни заповедь одну,
С собою в клуб бери жену». —

Это твои строки и к ним прибавим две моих:

Не подражай буржую,
Бери свою, а не чужую».

Одно время для нас, студентов I и II курсов, предметом зависти была группа старшекурсников. Они писали на плоской крыше нового здания Вхутемаса вывески-рекламы для Моссельпрома, эскизы — А. Родченко, стихотворные строки — В. Маяковского. Все четко, ясно, яркая плакатная форма.

Реклама папирос:

«Нами оставляются от старого мира
Только папиросы «Ира».

Реклама пива марки «Двойной золотой ярлык»:

«Довольно запивающих до невязания лык,
Не пей Каульбаховское,
пей — «Двойной золотой ярлык».

Еще одна табачная реклама папирос «Красная звезда»:

«Все курильщики всегда и везде
Отдают предпочтение «Красной звезде».

И, наконец, реклама пищевых продуктов:

«Где покупали, ели?
Самые вкусные макароны и вермишели?».

И как постоянный рефрен ко всем рекламным стихам:

«Нигде кроме, как в Моссельпроме!».

1924 год. Шумная вхутемасовская ватага у входа в Политехнический музей. Сегодня здесь вечер: «Маяковский разговаривает». Поэт будет не только читать стихи, он будет отвечать на самые острые вопросы, задаваемые присутствующими в зале.

Все мы, конечно, без билетов — денег у нас нет, к тому же мы не привыкли ходить на вечера Маяковского и к Мейерхольду за деньги. Это наш поэт, это наш театр, у каждого неосознанная уверенность в том, что здесь нас ждут, без нас не обойтись.

Появляясь из переулка, попадая в свет неярких фонарей, висящих у входа в Политехнический, выходит Маяковский.

На нем полупальто в елочку, скорее напоминающее тужурку, меховой «волчьего цвета» воротник, на голове кепи, в зубах неизменная папироса, руки в карманах тужурки.

Окружаем его тесным кольцом.

— Владим Владимыч, мы вхутемасовцы, проведите.

— Сколько Вас? — спрашивает Маяковский.

— Тридцать.

— Только всего? Маловато! — замечает с иронией Маяковский.

— Ведь сегодня аншлаг, все билеты проданы.

— Ладно, курить будете? — вынимает из кармана полную пачку «Зефира».

Жадно тянемся к папиросам — и курящие и некурящие.

Я не курил, но папироса Маяковского — это уже не папироса, а реликвия. Две такие папиросы хранились у меня до самой войны, вместе с несколькими лавровыми листьями из венка Есенину, который мы несли перед гробом Есенина, прибывшим из Ленинграда на Николаевский (Октябрьский) вокзал.

Похороны С. Есенина были совсем другими.

За гробом идет скромно одетая старушка-мать, сестра — небольшого роста девушка, в темной сборчатой поддевке, на голове платок. И мать, и дочь одеты не совсем по-деревенски, но и не по-городскому.

Бывший Дом печати, теперь Дом журналиста. Во всю длину фасада красный плакат, на котором написано: «Здесь лежит тело великого национального русского поэта Сергея Есенина».

В зале народа немного. Тишина, Есенин, осунувшийся, с поредевшими гладко причесанными волосами.

На руках у В. Мейерхольда в истерике бьется З. Райх, слышатся сдавленные рыдания. Много цветов.

Есенина я видел лишь только раз в том же Политехническом музее.

Смерть Есенина в нашем институте имела необычайный резонанс. Его последнее стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья» на многих людей производило неизгладимое впечатление. «Черного человека» знали все наизусть. Стихи, в которых было чувство безысходной тоски, заслоняли для нас все остальное в творчестве Есенина.

В институте, особенно на рабфаке, отмечено несколько случаев самоубийства.

Стихотворение Маяковского «Сергею Есенину» казалось оскорблением памяти Есенина. Стихотворение Жарова на ту же тему вызывало бурю возмущения.

Нам вручена анонимная анкета с целью выяснить настроение молодежи, учащейся во Вхутемасе и на рабфаке искусств.

Году в 1926-м у Мейерхольда идет спектакль М. Подгаецкого «Д. Е.», написанный по роману И. Эренбурга. Театр им. Мейерхольда помещался на Триумфальной площади в бывшем здании театра Зона, где на фасаде еще сохранилась модернистская вывеска этого театра.

Афиша одного из спектаклей гласила: «Спектакль проходит с участием В. Э. Мейерхольда. Весь сбор идет в пользу МОПРа».

В полной темноте, прорезанной лучами прожектора, из фойе, через весь зал, стреляя выхлопами, на незначительной скорости проезжает мотоцикл с коляской. Лучи прожектора освещают живописную группу едущих на мотоцикле.

В коляске полулежит красавица, а над ней в смокинге, в цилиндре, с яркой хризантемой в петлице склонился Мейерхольд.

Мотоцикл останавливается на сцене, а сам Мейерхольд, принимающий участие в этой стреляющей пантомиме, специально введенной для этого спектакля, обходит публику, собирая деньги, которые пойдут в качестве помощи узникам, томящимся в капиталистических странах.

Через некоторое время этот же спектакль показывается членам конгресса Коминтерна. Зал полон до отказа.

После спектакля — обсуждение. Ни один зритель не покинул помещения театра.

На сцену, где сидит президиум, поднимается рослый статный человек — В. Маяковский, громкие аплодисменты. Наконец в зале наступает тишина.

Маяковский выражает сожаление по поводу того, что театр мало привлекает к оформлению спектаклей художников-новаторов, художников Лефа.

Он говорит: «Всеволод Эмильевич, почему в театр до сих пор не приглашен такой крупный художник, как А. Лавинский, он мог бы много сделать для театра».

А когда он произнес, не помню в связи с чем: «Всеволод Эмильевич, я обращаюсь к вам как гений к гению...», — весь театр начал бешено аплодировать. Все поднялись с мест, аплодисменты перешли в овацию.

Вряд ли кто-нибудь еще осмелится сейчас встать и сказать что-либо подобное. Чувствовалось, что этот большой художник знает себе цену и понимает свое значение для советской литературы.

В стихотворении, посвященном Пушкину, он говорит:

Александр Сергеевич,
Разрешите представиться
Маяковский.
Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон;
тревожусь я о нем,
в щенка смиренном львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок-другой?!

. . . .
. . . .
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.

(«Юбилейное», 1924)

Маяковский хотя и ревниво относился к успеху собратьев, но всегда радовался успеху товарищей по поэзии.

В те же годы на один из вечеров во Вхутемасе, кроме известных нам стройного, но уже начинающего полнеть А. Безыменского, аскетичного Н. Асеева, яркого и живого С. Кирсанова, Маяковский привез никому не известного юношу годов двадцати, не более.

Это был И. Уткин. О нем никто в ту пору еще не знал, да и сами поэты с ним не были знакомы в должной мере.

Читают Безыменский, Кирсанов, Асеев и, наконец, Маяковский. Он, как всегда, имеет успех. Кончив читать, дает слово Уткину.

Срывающимся голосом, волнуясь, Уткин читает «Повесть о рыжем Мотэле». В зале тишина. Чтение Уткина слушают напряженно, не обращая внимания на его неопытность.

Вещь нравится всем, неслыханными аплодисментами вызывают юного поэта вновь.

Признание полное, аплодисменты по адресу Уткина значительно сильнее, чем по адресу Маяковского. И здесь происходит то, чего раньше свидетелями мы не бывали.

Маяковский выходит на авансцену и говорит:

«Видали, какого я вам поэта привел!». И тут же начинает снова читать свои стихи. Читает горячо, сильно и уходит под гром аплодисментов. Чувствуется, что ему тоже знакомо чувство ревности и соревнования.

Но в то же время он мог, как никто другой, восторгаться успехом товарища.

Помню, в том же Доме печати читал свои стихи И. Сельвинский. В это время Сельвинский только начинал приобретать признание.

Читал он чудесные стихи, причем по-своему темпераментно, порою чтение сменялось чем-то вроде мелодекламации, пения. Особенно он хорошо исполнял «Цыганскую рапсодию».

Маяковский аплодировал больше, чем кто-либо другой, он хлопал в ладоши, поднимаясь с места, кричал: «Браво, Сельвинский!»— и просил читать еще.

На одном из литературных вечеров Маяковского мы, вхутемасовцы, человек 15—20, штурмуем Политехнический. Но ничего не выходит. Маяковский, как всегда, берет нас под защиту и, став на контроле, пропускает всю нашу ораву.

Места в зале не нумерованы. Рассаживаемся в первом ряду. Маяковский полон сарказма. Он — «в ударе», на любую язвительную реплику отвечает быстро и уничтожающе.

На этом вечере в президиуме сидят поэты, художники, деятели искусств и среди них — Валерий Брюсов.

Из зала вопрос: «Скажите, как вы относитесь к Брюсову?»

Маяковский, сделав шаг вперед и сложив руки на груди, декламирует:

«Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог».

В зале шум, кое у кого недоумение. Смущенный Брюсов протирает стекла очков.

На вопрос об АХР он коротко говорит: «АХ-р-р-р», словечко-то какое придумано!».

Здесь же Маяковский делает обзор литературных новинок, и мы впервые из его уст услышали о И. Бабеле.

«Прочтите в номере «Лефа» Бабеля, это большой писатель, не Пильняку чета».

Не помню, после какой из острот Маяковского, показавшейся оскорбительной значительной части присутствующих,— а нужно сказать, что в зале наряду с горячими поклонниками Маяковского всегда присутствовало много и его недругов поэтических и прочих, им-то не по душе были острые как бритва ответы Маяковского,— в зале шум, стук, свист. Скандал назревал и грозил сорвать вечер. Кто-то в задних рядах крикнул: «Деньги обратно!». Еще не отдавая отчета в том, что мы делаем, начинаем тоже стучать ногами и кричать: «Деньги обратно, деньги обратно..!».

Кричим и шумим «организованно», кроме нас никого не слышно.

Маяковский, как-то сразу шагнув на край авансцены, зычным голосом, перекрывая шум, произнес: «Эти кричат,— пока-

зывает на одну часть публики, — я понимаю, они деньги платили, а вот вхутемасовцам чего надо?».

В зале зааплодировали, буря сменилась смехом. Аудитория снова в руках гениального поэта. И здесь наша мальчишеская выходка, в известном смысле, помогла Маяковскому.

Мейерхольд у нас в институте почти не бывал. Единственный раз мы, вхутемасовцы, встретились с ним довольно близко в доме на Воздвиженке, где помещался, пожалуй, самый левый театр — театр Пролеткульта. Нас собрали по вопросу оформления Москвы. Художественным оформлением Москвы ведал В. Мейерхольд. Он горячо рассказывал нам о римских карнавалах, китайских и японских праздниках, требовал от нас быть более красочными, смелее идти по пути дерзаний. Иного от него мы и не могли услышать.

Последний выпуск

Дипломная выставка Вхутемаса — Вхутеина 1930 года заслуживает особого внимания, и не только потому, что это последний выпуск,— на этот раз защищают диплом люди, пришедшие в советскую художественную школу в 1918 — 1920 годах.

Среди них нет великовозрастных, нет пребывавших еще в Училище живописи, ваяния и зодчества, и лишь несколько человек застали Свободные художественные мастерские.

Многие, из числа дипломников, прошли через рабфак искусств и другие рабфаки, через студии Пролеткульта, получив там первоначальную прединститутскую подготовку.

По количеству защищающих диплом дипломная выставка 1930 года превосходит все предыдущие, и не только по количеству — ни один предыдущий выпуск не включал такого числа даровитых людей, зачастую уже имеющих свою индивидуальность, свое лицо.

Да и не удивительно: бурные годы (когда каждый из выпускников делал свои первые шаги в искусстве), бесконечные споры о традициях, наследии, о необходимости создания нового пролетарского искусства сделали свое дело.

Стена от пола до потолка увешана произведениями молодых художников. Стилевое многообразие, бытовавшее во Вхутемасе, представлено полностью. Легко узнаешь «штеренберговцев», «машковцев», учеников Д. Кардовского, Р. Фалька, А. Шевченко.

Наконец, двери мастерских открыты, и каждый желающий может познакомиться с выставкой.

Много народа. Среди посетителей Я. Тугендхольд, А. Бакушинский, П. Коган, И. Маца, А. Эфрос, Е. Ярославский.

Выставка, даже по своему оформлению, имела своеобразный вид.

Рамы, багет отсутствуют полностью: стены Вхутемаса и золото рам — нечто несовместимое. На вещах, да и то далеко не на всех, тонкая обкладка — рейка. Это неповторимые признаки времени.

Для меня и моих товарищей — это особо торжественный день: наши фамилии среди защищающих дипломы.

Быстро пролетело время, годы учебы прошли безвозвратно, и вот мы на пороге жизни — отчаянные, безусые энтузиасты.

В коридорах института шумно, оживление необычайное, наплыв народа небывалый. Из мастерской в мастерскую катится поток людей, шумно высказывающих свое мнение о той или иной вещи.

Сухой, с монгольскими чертами лица, напоминающий киргиза-кочевника Семен Чуйков,— несомненно, самое интересное явление этой выставки. Его вещи несут черты монументальности, он полон своеобразия. Целеустремленность уже тогда определяла весь склад его творчества.

У него большой круг друзей и почитателей.

Семен Чуйков — думающий молодой художник, и его рассуждения об искусстве вызывают особое к нему уважение. Не так давно — он один из организаторов художественного общества молодежи, недолго, к сожалению, просуществовавшего, но, несомненно, сделавшего свое дело.

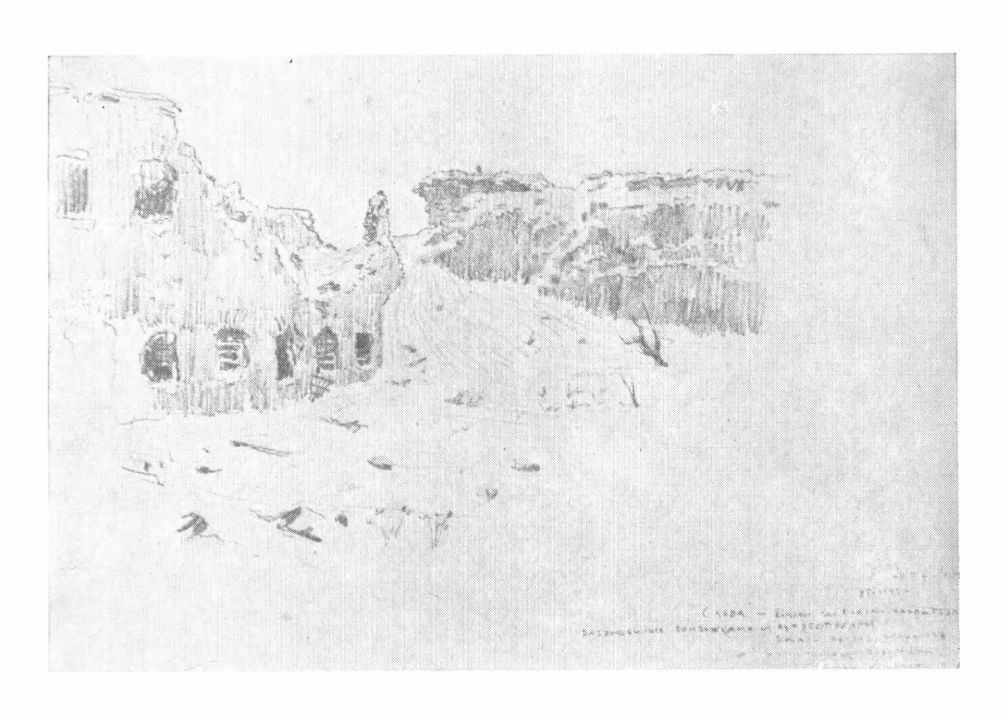
Примерно в 1926 — 1927 годах это общество проводит первую закрытую выставку. Здесь висят работы С. Чуйкова, А. Каневского, А. Ржезникова, П. Крылова — людей даровитых и глубоко понимающих искусство.

Уже тогда Чуйков поражал своим своеобразием и поэтичностью. Невиданно маленькие для того времени по формату работы привлекали к нему внимание творческих работников и общественности.

Чуйков в отличие от многих, несмотря на годы, сумел пронести свое искусство, почти не испытав чуждых ему влияний, причинивших неизгладимый вред ряду молодых художников.

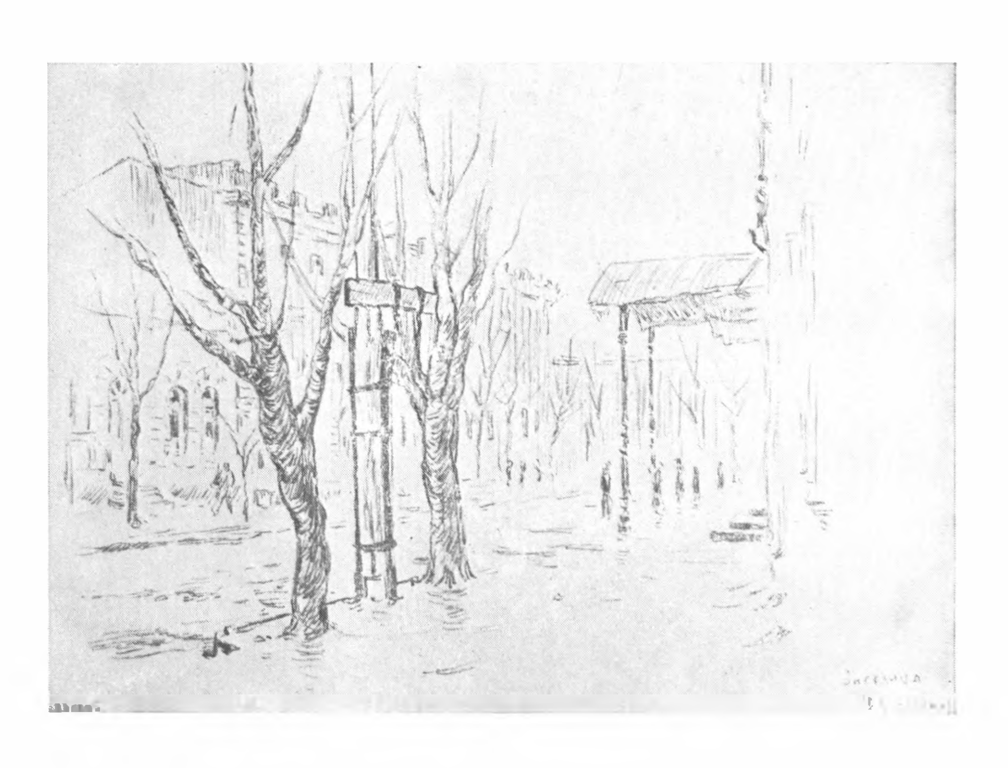
Собранный и организованный, как-то сразу нашедший себя, казалось, он обладает каким-то иммунитетом, броней, защищавшей его в свое время от несправедливых критических уколов. Корни его творчества уходили в глубь его детских и юношеских лет, оказавшихся основой, творчески питающей его искусство средой.

Фотоархив Вхутемаса у меня, да и у многих моих товарищей, крайне невелик, но фото дипломников последнего выпуска у меня сохранилось.



25

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК. РАЗРУШЕНЫ КАМЕРЫ, ГДЕ СИДЕЛИ НАРОДОВОЛЬЦЫ. 1943



26
ВИСЕЛИЦА, ОСТАВЛЕННАЯ ФАШИСТАМИ, НА ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ УЛИЦ ФЕОДОСИИ. 1942



27

МОСТ ПОД БЕЛГРАДОМ. В ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА ЗДЕСЬ ПЕРВЫМИ ПРОШЛИ КАТЕРА ДУНАЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 1945

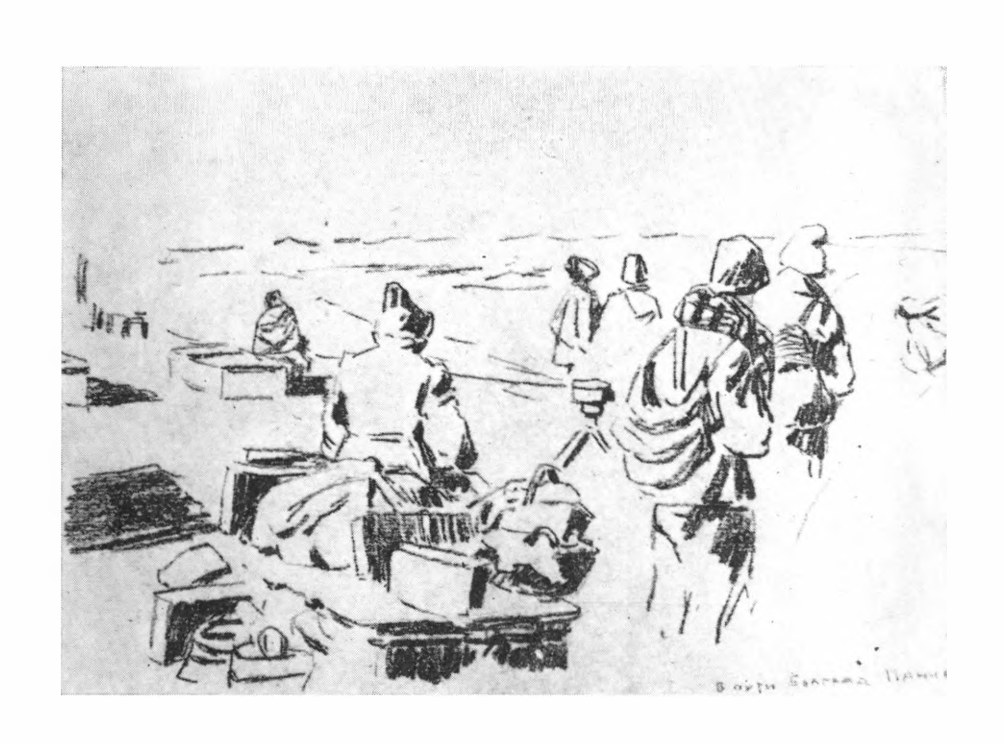


28

ЮГОСЛАВИЯ. ВЕЛИКАЯ КИКИНДА. ПАРТИЗАН ИВАН ДОБРАСАВЛИВИЧ. 1944

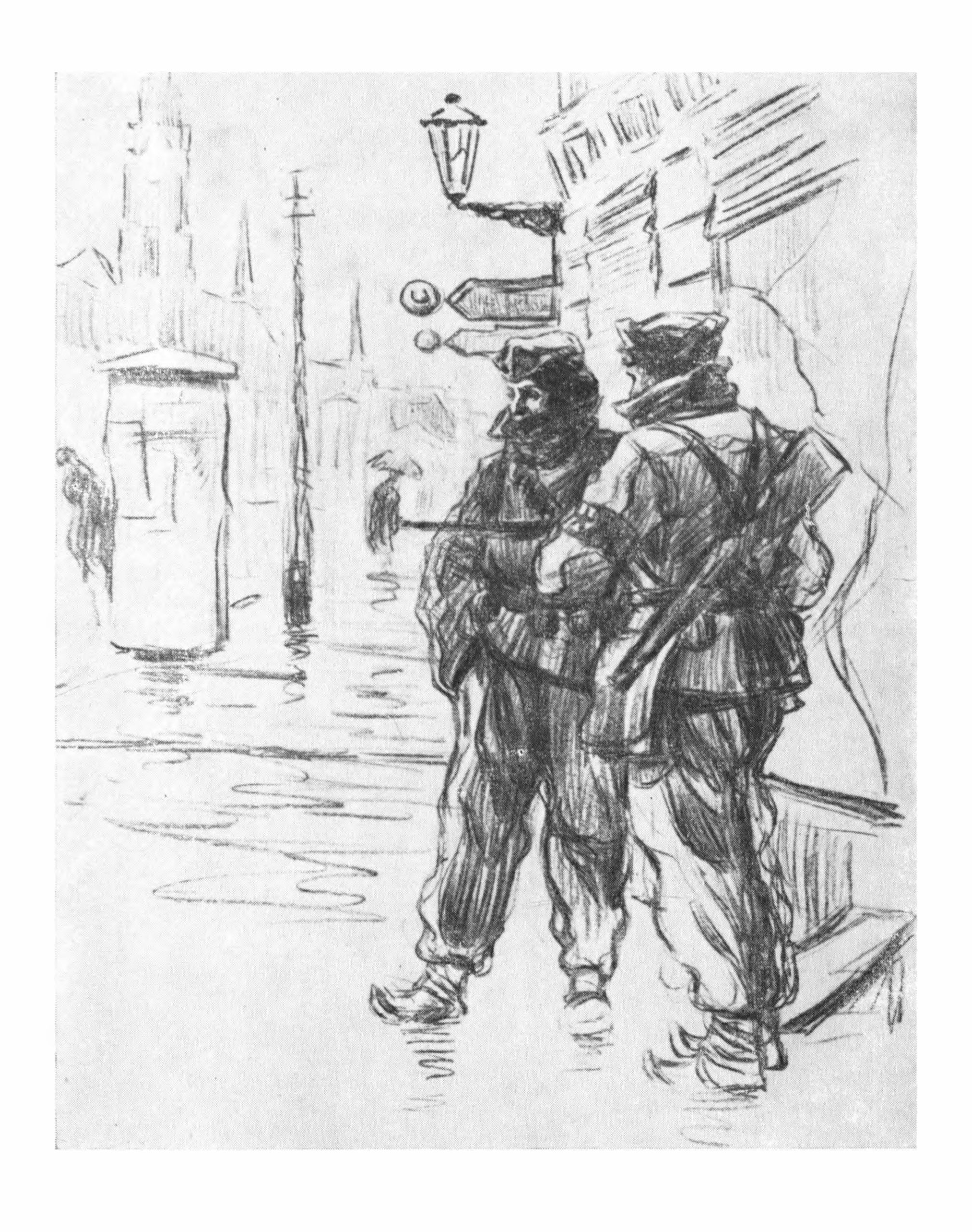


29
ЮГОСЛАВИЯ. БЕЛГРАД. 1945

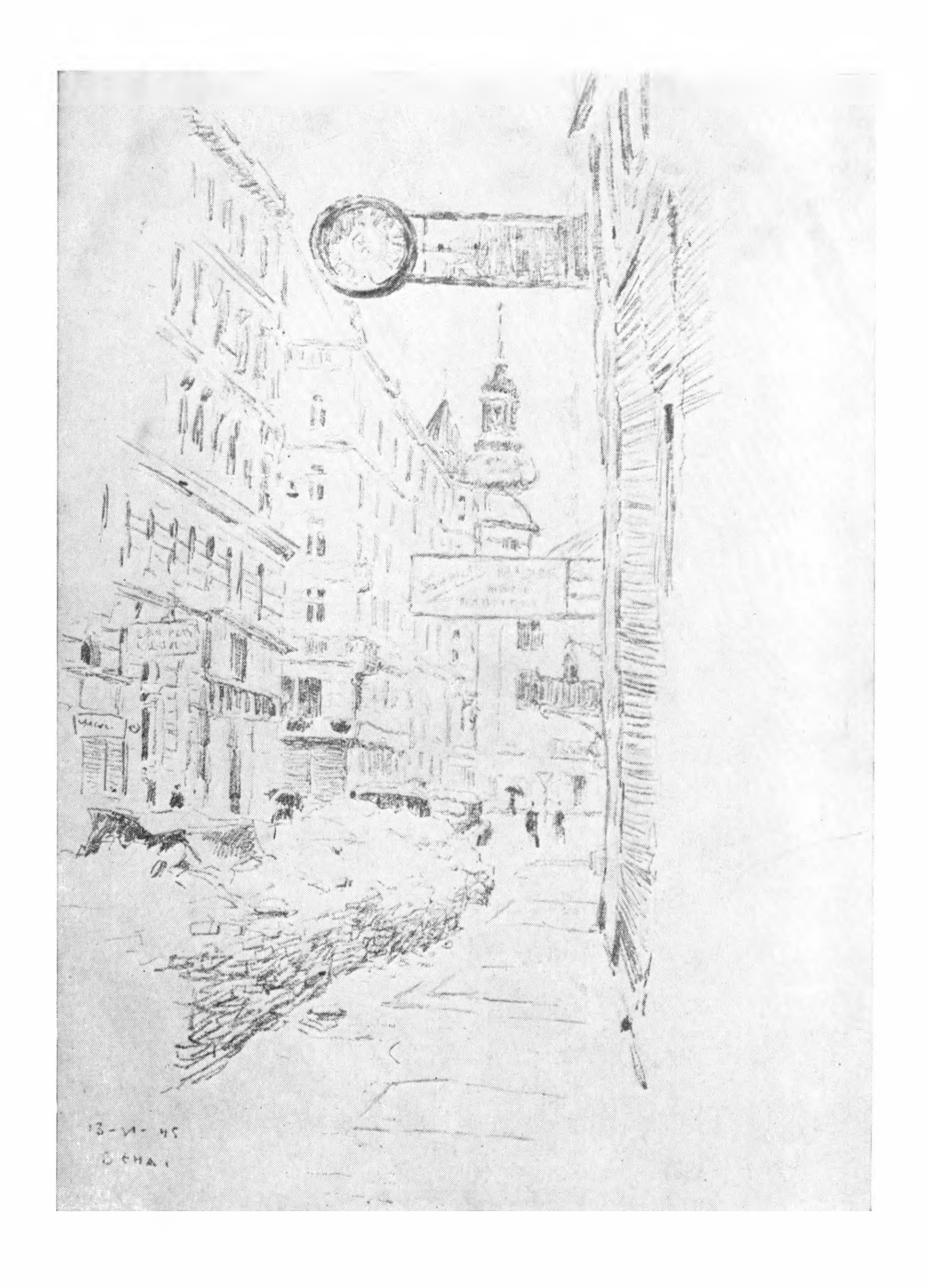


30

ЮГОСЛАВИЯ. ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ДУНАЙ. 1945



31
ЮГОСЛАВИЯ. НОВИ-САД. ПАРТИЗАНСКИЙ ПАТРУЛЬ. 1944



32
ВЕНА. ЗАВАЛЫ НА УЛИЦЕ. 1945

ГЛАВА III

ПОСЛЕ ИНСТИТУТА

По окончании института я получил диплом, где было написано: «Тов. Дорохову К. Г. присуждается звание художника с правом производить работу по всему СССР».

И не успел я опомниться и пережить все связанное с окончанием института, как был призван в армию на один год службы.

1931 год — год моей службы в рядах Красной Армии в Москве в Пролетарской дивизии. Казармы, где я служил, помещались около Крутицкого подворья — известного памятника архитектуры на берегу реки Москвы.

Первые дни службы были для меня тягостными. После свободной творческой жизни в институте я очутился в среде, где все нужно делать точно, аккуратно, быстро, хорошо знать устав и быть во всех вопросах армейской жизни дисциплинированным и четким. Сначала у меня все валилось из рук. Я позже всех заправлял кровать и одевался, допускал ошибки в обращении с командирами и начальством. На меня посыпались взыскания. Вот тут я подумал: «Служить всего один год, а при такой жизни этот год покажется за 10 лет». Я твердо решил взять себя в руки. Очень хотелось скорее отслужить. Выработал свой метод заправки постели, стал первым одеваться, приводить себя

в порядок и выходить на проверку. Выучил наизусть устав и все, что полагалось мне знать в армии.

Меня стали ставить в пример другим, я делал быстрее всех расчеты для стрельбы из орудия, на стажировке я — командир огневого взвода. И тут пошли благодарности. Командир полка Н. Воронов, позднее маршал артиллерии, вынес лично мне благодарность.

Кончился год службы. Я радуюсь, что скоро начнется моя творческая жизнь художника. Ведь в армии мне как художнику пришлось заниматься только оформительской работой.

На прощальном вечере у всех приподнятое настроение. Начальство зачитывает приказ об увольнении и отдельно — список тех, кого за особые отличия во время годичной службы с почетом оставляли на постоянной кадровой службе. В этом списке прочитали и мою фамилию. Я в полной растерянности, не знаю, что делать. И только благодаря вмешательству журналиста Михаила Кольцова, который очень тонко и умно сумел доказать, что художника, пять лет обучавшегося искусству живописи, нецелесообразно заставлять бросать свою специальность, я был демобилизован и уволен в запас.

С Михаилом Кольцовым мне не раз приходилось встречаться по разным вопросам. Это был человек, предельно влюбленный в советскую действительность. С большим творческим энтузиазмом отстаивал он все новое, что несла с собой новая эпоха, давшая власть трудовому народу. Размах его деятельности меня всегда восхищал. При его большой занятости делами государственного масштаба, он находил время и умел быть внимательным, отзывчивым к нуждам простых рядовых граждан. Он умел вовремя поднять актуально необходимые вопросы. Это Михаилу Кольцову мы обязаны тем, что книга «Как закалялась сталь» Н. Островского стала программным материалом в воспитании нового поколения.

Яркий образ этого талантливого и неутомимого журналиста на всю жизнь остался в моей памяти.

В тридцатые годы наша страна переживала большой трудовой творческий подъем в строительстве социализма.

Художников тянуло на стройки, в цеха, в гущу трудового народа.

Поездки по стране, по стройкам захлестнули меня. И я после службы в армии, томимый жаждой работы с натуры, сразу окунулся в бурлящий поток трудовой жизни страны.

1932 год. Еду на Волгу, на строительство Кашпирского сланцеперегонного завода. Еле добрался до места. От поезда до пристани доехал на лошадях, а с пристани — двенадцать верст по Волге на парусной лодке. Очень красивые места. Устроился жить прямо на берегу реки. Жара страшная. Начал работать на заводе. Завод еще недостроенный. Жизнь пока не налажена, с едой плохо. Живу у рыбаков. Самое приятное —

это Волга. Хожу с рыбаками на рыбную ловлю. Масса впечатлений.

Работа начинает подвигаться. Написал этюд цеха завода, сделал пару набросков фигур, нужных мне для композиции, и частично обдумал эскиз. А завтра начну рисунок для портрета ударника — самое главное в моей поездке и самое ответственное.

По вечерам, особенно когда смотришь на Волгу и видишь ее во всем величии, красе, невольно встают перед глазами образы великих русских художников И. Репина и И. Левитана.

В этом же году по командировке еду в Кронштадт на линейный корабль «Марат» для сбора материала к картине «Тревога» для выставки «15 лет РККА».

На корабле живу отлично, условия для работы самые наилучшие. Я в творческом подъеме. Работаю по 12 — 14 часов в день. Участвую в походе корабля. Собрал большой материал.

Обнаружил здесь для себя сюрприз. Написанный мною еще в студенческие годы (1928) портрет Марата висит в читальне корабля. Он был подарен нашей вхутемасовской комсомольской организацией Военно-Морскому Флоту, шефами которого мы были в те годы.

Картина «Тревога»— мое первое серьезное выступление на выставке после института.

С жильем в Москве у меня в это время было очень плохо. Мой брат С. Дорохов, окончивший одним из первых после революции Московский горный институт, ютился со своим институтским товарищем на чердаке, приспособленном для жилья, в бывшем особняке купца Слонова в Денежном переулке (теперь — улица Веснина, 19). Они меня и приютили.

Свою картину «Тревога» я писал на этом чердаке, воспользовавшись отъездом в командировку брата и его товарища. Я и сам не знаю, как я ее написал. Было очень тесно.

1934 год. Работа поглощает меня полностью. Пишу в основном детей. В нашем доме и во дворе много детворы. Еще будучи вожатым пионерского отряда, в годы учебы во Вхутемасе, я научился находить подход к детским сердцам, входить к ним в доверие. Дети со мной дружат и охотно мне позируют.

Вот уже несколько сеансов пишу мальчика с бумажной моделью. Ему 13 лет, огненно-рыжий, с выразительным красным лицом, удивительно веснушчатый и чем-то похожий на меня. Нос точь-в-точь как у меня — кнопкой. Для живописи — очень выгодный материал. Портрет идет сравнительно удачно, но я должен ехать в Мариуполь на Азовское море. Придется портрет пока оставить.

Я в Мариуполе. Хожу по заводу, был в гавани. Наблюдаю очень бурное море. Какое небывалое разнообразие красок — начиная от золотисто-желтых, зеленых до ярко-коричневых — сиенистых. Хожу, выискиваю пейзажи.

Сделал пейзаж порта. На переднем плане кустарник, крыши домов, а на дальнем плане идет угольная гавань и стоят на рейде иностранные корабли, ведущие у нас погрузку угля.

На заводе договорился с рабочими о позировании для портрета. Очень хочется сделать два портрета и не меньше четырех пейзажей. Пейзажи здесь необыкновенные.

Желание поставить перед собой более сложные задачи композиционного порядка не оставляет меня, и я, приехав из Мариуполя в Москву, пишу картину из трех фигур «Выходной день» (девушки на велосипедах), а позже — «Девушки с лыжами», приобретенную перед войной для Дворца труда в Ленинграде.

Писать в узкой, совершенно не приспособленной для этого комнате очень трудно, отход мал, но моя настойчивость помогает, и мне, в какой-то степени, удается решить поставленную перед собой задачу.

Портреты пока что у меня идут лучше.

Пишу мальчика с коньками. В нашем доме, в подвале, где у купца раньше были кладовки, живут тоже жильцы и, кстати, очень скученно. Мальчик этот живет там. Бледное, почти прозрачное лицо этого мальчика очень выразительно, и, увидев его с коньками в руках, мне очень захотелось его написать. В нем что-то было по-детски трогательное и вызывало к нему симпатию. Одет он был во все блекло-линялое, серенькое, а черная шапка на голове подчеркивала прозрачность его лица. Позировал он мне довольно долго и очень хорошо. Портретом я остался доволен.

К соседке, которая живет в том же коридоре, где живу я, приехала из деревни девушка — ее дальняя родственница. Звали ее Паша. Я попросил Пашу постоять мне для портрета. Она охотно согласилась. Образ этой девушки как нельзя лучше характеризует молодую труженицу колхозной деревни.

Позируя, она рассказывала про свою деревню, про деревенскую жизнь. Город ей не нравится: шум, пыль, скученность угнетают ее. Не дав закончить работу, Паша уехала обратно к себе в деревню. А я даже рад, что не совсем дописал портрет, а то мог бы засушить.

1935 год. Собираюсь ехать в Донбасс, но перед этой поездкой весенне-летние месяцы провожу в подмосковной деревне Крылатское. Москва-река здесь делает резкий поворот. На высоком берегу разбросала свои домики деревня. Вдали, в туманной дымке просматривается силуэт Москвы. Стоит весна, все утопает в зелени, буйно цветет вишня. Деревня, окутанная цветущими садами, выглядит как новогодняя игрушка, запрятанная в вату. При подходе к деревне со стороны Рублевского шоссе — глубокий овраг. Через него идет дорога в деревню. Справа, на холме, дача Ханжонкова — первого русского кинопромышленника. И в советское время там еще снимались картины. Овраг

этот не давал мне покоя своей красно-рыжей цветовой гаммой, я, конечно, не мог удержаться, чтобы его не написать.

Пейзажи здесь на фоне уходящих в дымках далей очень выгодно компонуются, и я с большим энтузиазмом работаю с утра до вечера.

Пейзажи этой деревни остались на моих холстах. Москва теперь придвинулась сюда вплотную, это место уже в черте города. На этих холмах в далекие от нас времена царь Иван Грозный занимался соколиной охотой. Теперь по проекту развития Москвы здесь будет осуществлен крупный спортивный комплекс с трамплином.

Мое желание осуществилось — я в Донбассе, в городе Донецке. И вот уже включился в работу. Пишу пейзажи длительные и быстрые— в Москве разберусь, что лучше.

Утром работаю над типичным городским пейзажем — главная улица города с локомобилями и с людьми, а вечером — быстрый, в один сеанс. Был на местном аэродроме. Наблюдал прыжки с парашютом. Явилась мысль написать композиционную вещь «Перед прыжком». Делаю наброски, рисунки. В подтверждение идеи делаю эскиз. Не знаю, что получится, но тема, навеянная аэродромом, не оставляет меня, и я продолжаю над ней работать.

В Донецке кроме меня живут еще художники: Ф. Богородский (со мной в одной комнате), Р. Барто, М. Маторин, Н. Шевердяев, А. Парамонов, заслуженный деятель искусств И. Павлов и В. Соколов. У меня осталась памятная фотография, где я сфотографировался вместе с мастерами.

В это время активно развертываются молодежные выставки, к которым привлекается вся творческая молодежь. Я со своими работами, накопившимися у меня за это время, охотно выступаю на этих выставках.

В портрете меня волнует образность, возможность через портрет передать мысли, чаяния, подвиги молодых современниц, именно современниц — меня волнуют образы наших советских женщин. Ведь надо себе представить, какой широкой волной идут девушки осваивать все, что им не было доступно раньше. Резко увеличивается процент участия женщин во всех областях деятельности. Первые женщины-архитекторы, инженеры, ученые. Это не могло не волновать. В этом смысле мне всегда нравились портреты Г. Ряжского.

Одной из моих ведущих тем становится разбуженная активность советских женщин любой национальности, тянущихся к знанию, к творческому труду, к подвигу.

Я начинаю внимательней и придирчивей относиться к выбору своих моделей.

По Арбату в то время ходил трамвай. Возвращаясь домой, еду в трамвае. Вдруг на ближайшей остановке впорхнула стайка девочек и громко защебетала. Среди них выделялась одна

как я потом узнал, кореянка, с милым характерным для этой национальности лицом. Я сразу подумал, как бы хорошо ее написать. Познакомился. Позже договорился с ее мамой и с ней самой о позировании. Эта кореяночка — Шура Тян стала потом во многих моих вещах отправным образом.

Еще раньше меня эту девочку заметили кинематографисты. Она снималась в Артеке в одной из первых детских картин.

Я продолжаю работать над картиной «Перед прыжком», навеянной мне посещением Донецкого аэродрома, где я сделал для картины первый пробный эскиз. Хожу на аэродром Центрального аэроклуба им. Косырева, делаю наброски — этюды парашютисток. Одна из девушек-парашютисток позирует мне для более длительного портрета. Этот портрет с образом волевой девушки-парашютистки приобретает самостоятельное значение. Я всегда считал для себя этот портрет удачей.

Еду в Херсон. Получил заказ на картину «На консервном заводе» для выставки «Пищевая индустрия».

Городишко небольшой, весь утопает в зелени. На дворе сентябрь, а желтизны на листьях еще мало. Был на заводе, получил пропуск, и сразу же окунулся в работу. Сначала все как-то не ладилось: сделал неудачный этюд, подвергся краткому, до выяснения недоразумения, аресту за то, что писал на территории завода; погода ужасная — сильный мороз с ветром. Но все быстро наладилось: засияло солнце, засинел Днепр. Другой берег нежно замелькал в сизой туманной дымке. Акации зеленые. Река здесь очень чистая. На заводской шлюпке плаваю по Днепру, разглядываю пейзажи с воды.

Завод, где я должен работать, стоит на берегу Днепра. Днепр как бы большой заводской двор, на который вместо грузовиков с помидорами, кабачками, перцем подходят мелкие суда, баржи, лодки. Они в основном и доставляют сырье. Очень жаль, что не приехал на этот завод на месяц раньше. На самом заводском дворе, утопающем в зелени, фоном которому служит река, можно найти несколько пейзажей.

Моя задача собрать материал для небольшой сценки — рабочий момент в цехе. На переднем плане работница с противенем, на котором помидоры, а за столом происходит фаршировка перца и помидор. Для этого я сейчас делаю в цехе наброски. Сделал этюд цеха и наброски с нескольких фигур. Еще нарисую внимательно карандашом интерьер цеха. Для композиции этого материала мне пока хватит. Второе, для чего я собираю материал,— пейзаж самого завода. Завод будет просматриваться сквозь зелень. Для этого я сделал ранним утром этюд и подробный рисунок.

У меня еще заказ к 20-летию РККА, а потому задерживаться здесь вряд ли следует, хотя поработать бы еще надо.

Закончил писать портрет «Ненецкой девушки с книгой». Этот портрет стал как бы воплощением всех моих поисков

и замыслов в области создания обобщенного образа в портрете. За этой девушкой, сидящей с книгой, мне виделась вся наша молодая многонациональная Родина, тянущаяся к знанию, к свету.

Портрет этот был очень тепло встречен зрителями и художественной общественностью.

Приближалась выставка, посвященная 20-летию ВЛКСМ. А надо сказать, что к этому времени происходит активное становление нового молодого советского поколения во всех областях искусства, науки, в труде. Появились наши первые лауреаты-музыканты, в балете выдвинулись новые молодые солисты, активно заявила о себе большая группа молодых художников.

Вся эта творческая молодежь — воспитанники комсомольских организаций.

По заказу оргкомитета выставки молодым художникам поручают написать портреты своих сверстников в других областях искусства и в труде. Это была замечательная творческая находка. Все мы с большим энтузиазмом принялись за эти портреты.

Мне поручили написать портрет молодой солистки балета Большого театра, комсомолки Ирины Тихомирновой, который затем был приобретен Харьковским государственным музеем изобразительных искусств.

Тихомирнову я пишу у нее дома в костюме Одетты. Условия для работы сковывают. По ходу пришлось отказаться от первоначального замысла: мне хотелось изобразить ее в полный рост, но перед глазами «маячили» все время ноги балерин Дега и невозможно было найти что-то новое. Мучительные поиски закончились тем, что я отказался показывать ноги, к тому же отход был мал для портрета во весь рост. Я сконцентрировал внимание на чисто портретных данных модели. Наблюдая молодую балерину во время сеансов, мне показалось, что та поза, которую я выбрал для портрета, больше всего характеризует ее индивидуальность.

Срок выполнения этих заказов был небольшой, до выставки оставалось мало времени, что не могло не отразиться на конечном результате.

Одним из числа удачных портретов на выставке был портрет Лизы Гилельс М. Хазанова, выполненный им с большим чувством и мастерством.

Наконец мне предоставлена мастерская. Я получил ее вместе с Ароном Ржезниковым в доме на Масловке, на 5-м этаже. Это было великолепно! Некоторое время мы с Ржезниковым работали без перегородки, отгородившись друг от друга книжными шкафами. Ржезников очень любил классическую музыку. Работая, он всегда негромко мурлыкал мелодии Бетховена, Иоганна Себастьяна Баха.

Однажды к нам в мастерскую зашел Н. Крымов. Зашел он,

конечно, к Ржезникову, но так как мастерская у нас была общей, то я поневоле стал свидетелем этого визита.

Крымов очень тепло относился к Ржезникову, следил за его творчеством, считая его своим преемником. На одном из художественных советов на Кузнецком мосту Ржезников показывал свои работы. Среди них были жанровые сцены, вещи, сделанные в Донбассе, и чудесные, полные солнца и воздуха пейзажи Украины.

Поднялся Крымов и, возвышаясь над всеми членами совета, обратился к собравшимся. А нужно сказать, что в ту пору открытые художественные советы были для нас одновременно праздником и школой и привлекали полный зал молодых художников. Да и неудивительно: один состав художественного совета уже делал его заседания творческими, необычными и значительными. В совет входили в ту пору А. Герасимов, И. Грабарь, А. Дейнека, П. Кончаловский, Н. Крымов, И. Машков, К. Юон и другие.

При выступлении Крымова в зале все как-то насторожились, и в наступившей тишине Николай Петрович начал свою необычайную речь словами:

— Покажите мне Ржезникова. Где он?

В задних рядах, по-мальчишески смущаясь, с озорной улыбкой в глазах, по обыкновению прикрывая рукой нижнюю часть лица, прячась за спины товарищей, стоял Арон Ржезников.

— Ах, вот он какой! Я именно таким его себе и представлял. Смотрите, он даже внешностью своей похож на Левитана. Протянув к Ржезникову руку, он сказал приблизительно следующее:

— В Ржезникове мы видим блестящего живописца, его пейзажи заслуживают самой высокой оценки. В нем я вижу продолжателя традиций русской пейзажной школы. И в нем я имею своего преемника и готов от всей души его приветствовать.

В суровые годы войны, когда Ржезников был на фронте, Крымов переписывался с ним.

И вот Крымов у нас с Ржезниковым в мастерской.

Осмотрев все, что ему показал Ржезников, он обратился ко мне:

— А нуте-ка, молодой человек, покажите теперь вы свои работы.

Показать ему я ничего не мог: мы только накануне получили мастерскую, и вещи свои я еще не перевез.

— Ах, не хотите! Стыдно, молодой человек. Когда вас просят, надо показывать,— недовольно произнес Крымов и, отвернувшись от меня, как бы перестал совсем меня замечать.

Через несколько дней мне передают:

«Крымов сказал, чтобы ты ему срочно позвонил».

Звоню, называю себя и слышу:

— Вот что, молодой человек, завтра в двенадцать дня я вас жду, но непременно с работами.

Я лихорадочно отбираю работы, забиваю ими такси и еду к Крымову.

Его мастерская находилась в небольшой уютной квартирке, в одном из переулков на улице Кропоткина. На рояле масса этюдников всех фасонов и размеров, за окном давно знакомые по крымовским пейзажам крыши. Встретила меня приветливая Екатерина Николаевна.

Рассматриваю Николая Петровича ближе. Высокий, с твердыми чертами лица, с суровыми умными глазами, худой, изможденный болезнями человек.

Несмотря ни на что, величав и красив.

— А я вас ждал,— говорит Крымов, не обращая внимания на груду привезенных мною работ. — Смотрите, я специально для вас начал этюд,— указывает Крымов на холст, стоящий на мольберте.

На холсте красивый пейзаж — вид из окна, перевернутый вверх ногами. Мне искренне жаль, что он будет записан, но возражать не могу.

В руках у Крымова палитра, и он начинает писать по старому холсту вид из окна.

— Смотрите внимательно на то, что я буду делать и как.

Уверенной рукой проложил серо-розовое зимнее небо, решительно прописал снег, сразу безошибочно взяв цветовые отношения. Во время работы говорил, поясняя, почему именно так, а не иначе он взял тот или иной тон.

Я молчал, не совсем понимая, зачем он меня позвал.

— Вы кого любите из художников?— спрашивает Николай Петрович.

Начинаю перечислять, называю Сурикова, Серова.

— Это хорошо, — говорит Крымов. —Крымова? А вот это уже лишнее. — Видимо, усматривает угодливость и подхалимаж с моей стороны.

Но я сказал это искренне. Крымова я любил всегда и, не будучи знаком с ним и не видя его ни разу, считал его всегда в числе своих учителей, как и многие мои товарищи из молодых художников.

— Так, на этом пока кончим,— сказал, поворачиваясь ко мне, Крымов. — А ну, покажите-ка, что вы привезли,— говорит Николай Петрович, оставляя палитру, усаживаясь поудобнее в кресло и закуривая.

Я первым делом начал показывать портреты и среди них «Ненецкую девушку», которая теперь висит в Третьяковской галерее и которой я был доволен.

— Ну, это не по моей части, уберите.

Я опешил и стал показывать пейзажи. Крымов смотрит молча, изредка делая замечания.

— Это ничего, неплохо, а вот это — дрянь. А вот это совсем неплохо, только вот эту стену надо протереть какой-нибудь фузой,— он выразился крепче,— и будет хорошо.

А когда я показал ему пейзаж, сделанный во время пребывания в институте, который я писал из окна реального училища в Чернигове в течение целого месяца, в дождливую ненастную погоду, Николай Петрович сказал:

— А-а-а... это у вас прямо Писарро.

Это меня обрадовало и обескуражило. В ту пору принято было считать Крымова сторонником только русской школы — Шишкина и Левитана.

Не дождавшись конца показа работ, он подошел к своему начатому этюду, перевернул его и сказал:

— Зря я вам показывал, вы это уже знаете.

И действительно, так как я учился на работах Крымова, висящих в музеях и на выставках, то все, что показывал Николай Петрович, было мне знакомо.

— А теперь садитесь поговорить,— сказал он, впервые приглашая меня сесть после того, как я часа полтора простоял на ногах. Уважение мое к нему было так велико, что я считал это естественным и готов был простоять еще хоть три часа.

Разговор был у нас долгий. Говорил, конечно, в основном Крымов и к тому же на самые разнообразные темы.

Он доставал этюды, показывал мне, вспоминал, где и когда их писал, много рассказывал о Коровине, чрезвычайно образно, как-то по-своему, «по-крымовски».

Быстро пролетели 2—3 часа, которые я у него провел. Увязываю работы, выношу на лестницу, прощаюсь; приглашает заходить и на прощание говорит:

— Вы — пейзажист. Пишите больше, у вас пойдет.

После этого с большими интервалами мне приходилось изредка встречаться с Крымовым на вернисажах и обсуждениях, у него на квартире, а то просто на Кропоткинской улице, где я неподалеку жил.

Не помню, по какому поводу году в 1939-м мне довелось быть у Николая Петровича. Он встретил меня, провел в комнату, где на мольберте стоял портрет М. Тарханова, очень похожий, но не убедивший меня своим выполнением. Портрет казался мне суховатым и черным.

— Ну как? — спросил Крымов.

Я, не подумав, без оглядки, сразу же выпалил то, что думал о портрете, и тут же пожалел об этом — справа в углу, в полутени я увидел сидящего Тарханова, с улыбкой поглядывавшего то на Николая Петровича, то на меня.

Николай Петрович весь как-то преобразился, мои замечания вывели его из себя. Он громко закричал:

— Да что вы понимаете! Это превосходный портрет, его писал мой ученик Сережа Викторов!

Я не знал, куда мне деваться, но, к счастью, Тарханов умело перевел разговор на другую тему, и Николай Петрович, успокоившись, продолжал прерванный моим приходом разговор.

Нужно сказать, что Крымов очень бережно относился к своим непосредственным ученикам и к тем, кто в какой-то степени был в числе его последователей, а зачастую и друзей. Его ученики — С. Викторов, Ф. Глебов, Д. Домогацкий, Ю. Кугач, П. Малышев, Н. Соломин и многие другие — платили ему тем же, и их разговоры о Крымове были окутаны неизменной преданностью и теплотой.

Особым расположением у Николая Петровича пользовался А. Гиневский. Не помню, кто именно в присутствии Николая Петровича позволил себе неодобрительно отозваться о пейзажах А. Гиневского. Николай Петрович, резко оборвав говорившего, произнес:

— Ничего подобного. Это талантливейший юноша.

В свою очередь, Гиневский боготворил Крымова.

Я счастлив, что мне довелось быть знакомым с Н. П. Крымовым, крупнейшим мастером советской пейзажной живописи, хранителем больших традиций.

Из портретных встреч этого довоенного периода мне хочется отметить встречу с одним из крупнейших советских писателей — Л. Леоновым.

В 1939 году мне довелось писать его портрет. Нужно сказать, что встретил он меня крайне недоверчиво и неприветливо. Несмотря на то, что я имел на имя Леонида Максимовича отношение, в котором была изложена просьба попозировать мне для портрета, Леонид Максимович категорически отказался позировать.

— Молодой человек, я страшно занят, пишу пьесу и времени у меня нет.

— В таком случае, разрешите мне посидеть у вас, понаблюдать за вами и сделать наброски.

В этом Леонов отказать мне не смог и, не глядя на меня, буркнул:

— Пожалуйста, располагайтесь...

Я начал делать наброски в альбом и сделал небольшой этюд маслом. Леонид Максимович избегал взглядов в мою сторону и делал вид, что меня не замечает.

В это время в комнату, вернее, кабинет Леонова вошла его младшая дочь Наташа. Маленькая, худенькая, в белой кофточке, с выразительными чертами хрупкого лица, с коротко остриженными русыми волосами и челочкой, падающей на глаза, она чем-то напоминала маленькую инфанту. У меня сразу же появилось желание написать ее.

— Наташа, посиди, я тебя нарисую,— обратился я к ней.

— Рисуйте,— сказала девочка и села на край тахты. На фоне красного ковра она была очень хороша.

В течение часа-полутора я сделал довольно удачный этюд маслом. И вдруг слышу за спиной голос незаметно подошедшего ко мне Леонова:

— Молодчина! Отлично! Вас как зовут?

— Константин Гаврилович.

— Так вот, Константин Гаврилович, с понедельника я в вашем распоряжении,— сказал он, раскуривая трубку.

Целый месяц в определенные часы он мне довольно аккуратно позировал. Чудесный рассказчик, балагур, Леонид Максимович поражал меня своей начитанностью и эрудицией, и встречи с ним для меня были чрезвычайно полезными.

Писали и рисовали его очень многие. И не удивительно, что он так холодно сначала меня встретил, ведь я писал его четырнадцатым по счету.

Ранняя весна 1940 года. Тянет на этюды. С большим удовольствием еду с группой товарищей в Крым по командировке Оргкомитета для обследования работы и жизни крымских художников. Вот прекрасный случай попутно пописать крымскую весну! Мы в Ялте. Весна здесь в самом начале — зеленеет трава, распускаются цветы и вишня, хотя на горах лежит еще снег. Общественная миссия, возложенная на нас, закончена. Теперь можно спокойно пописать. Делаю каждый день по односеансному этюду. Море сейчас очень красивое — большая волна. Весной в Ялте куда лучше, чем летом.

Появилась возможность побывать в Средней Азии, в Ташкенте и Самарканде. Опять, воспользовавшись командировкой Оргкомитета для обследования работы местных союзов художников, вместе с Порфирием Крыловым едем в Ташкент и сразу же разворачиваем вовсю деятельность по общественному поручению. Начало апреля, погода стоит холодная, идет снег, град, дождь. Носимся под дождем с утра до ночи, стараемся как можно скорее закончить обследование художников и сэкономить время для этюдов.

Сегодня в честь нашего приезда Варшам Ваграмян (председатель Союза художников Узбекской ССР) устроил для нас плов. Сидим в чайхане прямо над арыком, едим плов и пьем зеленый чай. Над нами светит луна, и все кругом утопает в зелени. Зелень по цвету еще сырая — весенняя, писать ее не очень хочется, но мы все же и сегодня на этюды ходили.

Ташкент, конечно, благоустроеннее, чем Самарканд, но такой красивой старины, как в Самарканде, здесь нет.

Ах как изменился Самарканд с тех пор, как я там был 10 лет назад, в 1930 году. Европейское берет свое. Нет уже той экзотической пестроты национальных халатов, против Регистана снесен целый квартал, на этом месте разбит сквер, одной мечети нет, а наклоненную башню Улугбека, которая грозилась упасть, отремонтировали так, что она стала выпадать из ансамбля — стала абсолютно вертикальной.

Как-то очень грустно ходить по местам, где не был 10 лет, и видеть, как многое уходит в прошлое.

Бродим у Биби-ханым, сделали по этюду. Если погода не подведет, буду каждый день делать по паре этюдов.

Однако поработать так, как хотелось бы, не пришлось. Это не такое место, чтобы можно было сделать что-либо наскоком. Приходит конец нашего пребывания в Узбекистане, пора собираться домой.

Приехав в Москву, получаю срочную телеграмму из Смоленска — отец в тяжелом состоянии.

Нет ничего печальнее, чем смерть у тебя на глазах близкого человека. Отец скончался на моих руках. Страшно, тяжело и обидно. Написал отца в гробу.

Лето 1940 года провожу на Оке в Поленово. При Доме-музее В. Д. Поленова несколько комнат отведены для приезжающих художников. С особым удовольствием пишу Оку, поленовские и крымовские места. Крымов живет в Тарусе.

Рядом с музеем находится Дом отдыха Большого театра. Сейчас здесь отдыхают почти все актеры театра. Знакомлюсь с актерами, с некоторыми договариваюсь о позировании. Пейзажи кругом великолепные. На этюды выхожу рано утром, когда все кругом утопает в самых первых лучах восходящего солнца. Тишина и покой настраивают на лирические мотивы.

В «Поленово» в это время жили и работали художники: А. Ржезников — он очень много сделал там великолепных пейзажей, Н. Радлов со своей супругой Н. Радловой-Шведе и Д. Рубинштейн. Едем с Ржезниковым на лодке в Тарусу. Там живет много знакомых художников. Это излюбленное место, куда постоянно съезжаются художники — любители Оки и ее красивых окрестностей. Навещаем Н. Крымова. Любуемся с его террасы изумительными крымовскими мотивами с далеко уходящими в дымку голубыми далями.

В доме отдыха «Поленово» отдыхали не только актеры Большого театра. В это время там отдыхала наша замечательная драматическая актриса С. Бирман, портрет которой я и написал там. Портрет получился со сходством, но в нем не было той изюминки, которую я всегда старался найти в натуре, и мы договорились с актрисой о повторном позировании в Москве, в более соответствующей для нее обстановке.

Предстоит выставка, посвященная К. Е. Ворошилову. Хочу в ней участвовать. Нужно собрать исходный материал для работы.

В начале октября 1940 года вместе с И. Пастернаком и В. Нечаевым еду в Архангельск по местам царской ссылки К. Е. Ворошилова.

Погода для работы стоит неблагоприятная — холодный ветер с морозом, но все равно стараюсь все время писать. Сам город Архангельск не очень привлекательный. Настоящая улица все-

го лишь одна, дома в основном все деревянные. Порт в связи с войной в Европе загружен слабо, а поэтому судов на рейде почти нет. Очень интересны лесопильные и пароходоремонтные заводы. Двина здесь имеет несколько рукавов, а в целом — необычайно широка и сурова. Побывал в Холмогорах. Через день выезжаю в Мезень.

1939 и 1940 годы были для меня очень насыщенными. Каждый год я участвовал по пять раз в разных выставках.

И вот 1941 год. Ранняя весна этого года началась для меня печально — умерла мать.

Месяц май провожу в Ленинграде. Брожу с этюдником в руках по улицам и площадям этого прекрасного города. И кто бы мог знать, что эти места мне придется писать уже в военное время, в период блокады Ленинграда.

В кармане у меня командировка в город Казань с 20 июня по 20 июля. С выездом в Казань я задержался по каким-то неотложным делам. Впереди много интересных замыслов. Предстоит большая выставка «Наша родина». Это меня волнует и настраивает на большую творческую работу.

В выходной день 22 июня собрались поехать за город. И вдруг в радиорупоре, который висел у меня над головой, прозвучало страшное сообщение о нападении фашистской Германии на нашу страну. Над всеми нами, над всей нашей страной нависла черная туча жестокой и длительной войны с коварным и злобным врагом.

ГЛАВА IV

ГОДЫ ВОЕННЫЕ

Моя «военная» биография

(Текст рапорта, подготовленного для Политотдела Военно-Морского Флота)

С первых дней войны я находился на действующем Черноморском флоте (Севастополь).

Работал почти на всех кораблях и базах Черноморского флота. Рисовал и писал на линкоре «Парижская коммуна», лидерах «Харьков», «Ташкент», крейсерах «Красный Крым», «Красный Кавказ» и на эсминцах «Бодрый», «Смышленый», «Бойкий», «Сообразительный», «Шаумян», а также на плавбазах «Волга» и «Нева».

Сначала я был в политотделе эскадры. Писал, рисовал, выпускал плакаты по типу «Окон ТАСС» на стихи поэтов А. Жарова, П. Панченко и других. Несколько позже был откомандирован для работы в газете «Красный Черноморец», где помещались мои зарисовки героев и прочие фронтовые материалы.

Работая при редакции, делал зарисовки в полосе боевых действий. На передовой (деревня Ассы, берег Каркинитского залива, Бромзавод, Юшунь) работал вместе с корреспондентом газеты «Правда» Л. Коробовым.

Был в отряде морской пехоты капитана Сонина, на батарее

капитана Матях, в артполку полковника Сомова (участок № 9).

Работал в осажденном Севастополе. Сделал более ста зарисовок как в осажденном городе, так и на передовой, в частности на Мекензиевых горах, в отряде Береговой обороны (командир отряда полковник Костышин, комиссар Вольфсон), в Первом перекопском отряде капитана Волкова, на 10-й батарее у Матушенко и на 30-й батарее Александера.

В период десантных операций 1941—1942 годов (Феодосия — Керчь) дважды ходил в Феодосию. Первый раз — не высаживаясь, на крейсере «Красный Крым», в другой — с высадкой, на танкере «Эмба», с частями 83-й армии. Работал в отряде старшего лейтенанта Айдинова.

В Феодосии работал вместе с писателем майором Л. Лагиным и художником старшим лейтенантом Л. Сойфертисом. Здесь же впервые рисовал вице-адмирала Н. Басистого.

Кроме этого, работал на ряде баз Черноморского флота: в городе Новороссийске (незадолго перед его сдачей), в Туапсе и Поти, а также на кораблях.

В сентябре 1942 года был командирован в Москву для участия в выставке «Великая Отечественная война».

После выставки, в декабре 1942 года был послан в Ленинград на Балтийский флот, где был три месяца. Работал на кораблях «Октябрьская революция», «Славный», «Строгий», «Киров» и других. Выезжал в период боев под Синявино, Шлиссельбург, на участки № 4, 5, 6, а также в Кронштадт, где работал на «Марате» и эсминце «Страшный», делал зарисовки на «верхних» миноносцах.

По возвращении в Москву была организована Комитетом по делам искусств моя персональная выставка (май, 1943). После выставки я снова на Черноморском флоте. Работал на «Красном Кавказе» и других кораблях, на ряде баз: Батуми, Поти, Туапсе, Геленджик. Ходил на кораблях. После похода на торпедном катере № 25 попал в госпиталь.

Был свидетелем боевых действий на «Малой земле» у Новороссийска, где работал в непосредственной близости от врага — «Станичка» — 255-я бригада, полковник А. Потапов: в одном случае — от немцев метрах в 50—60, в другом — в 18 метрах (Ворошиловская улица).

Сделал много рисунков и этюдов маслом.

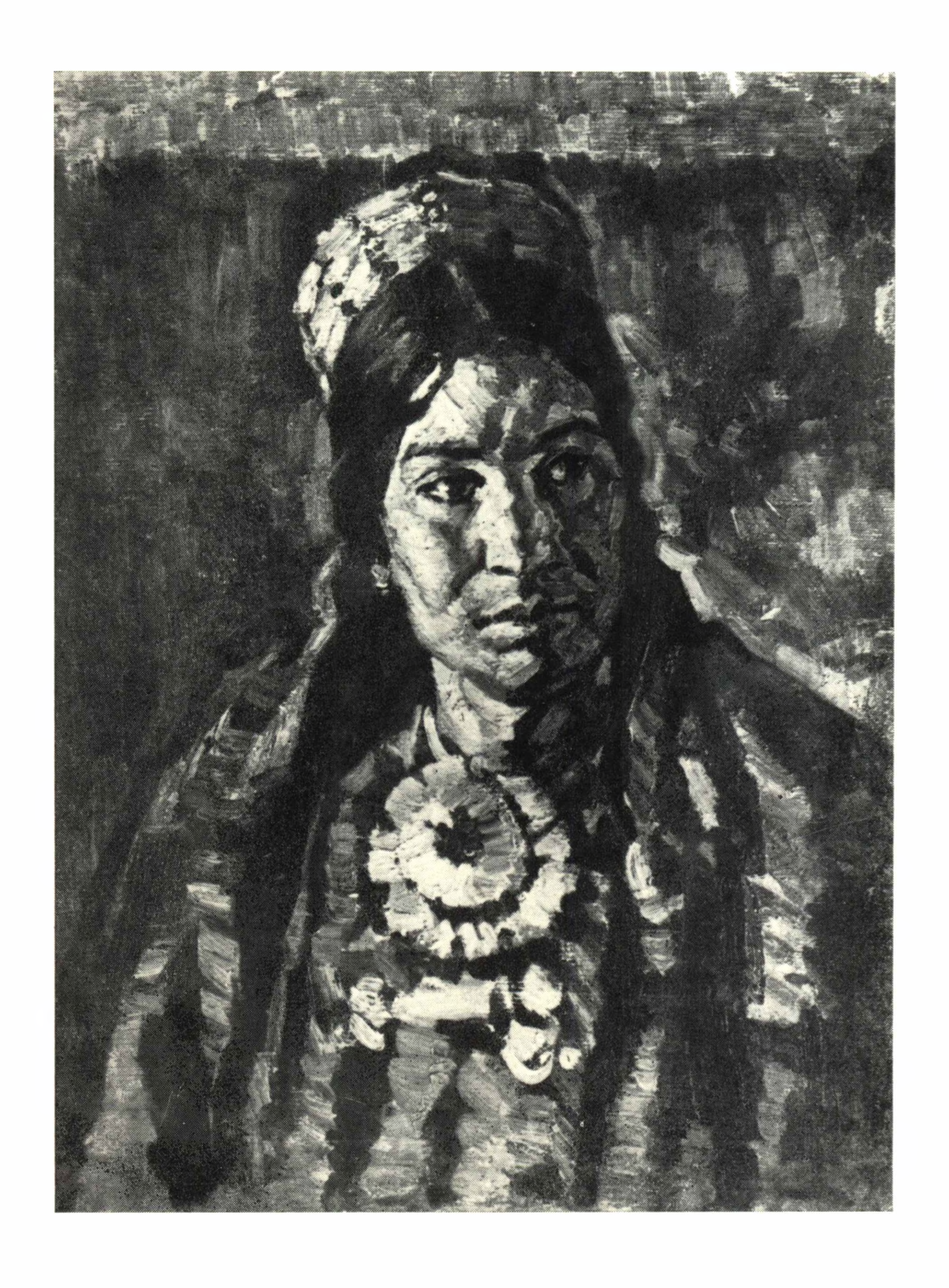
Вместе со мной были писатель А. Ромм, художник Л. Сойфертис. В это же время там был и художник П. Кирпичев.

Здесь же, на «Малой земле», работал на Мысхако в 83-й бригаде, в 305 батальоне. Работал в гвардейском дивизионе у М. Матушенко, в частности, на батареях М. Челака и А. Зубкова, а также на КП корпуса генерал-майора Д. Гордеева.

В 1944 году был при освобождении Крыма, был при взятии Севастополя и при ликвидации немецкой группировки под Хер-



33
ВЕНА. РАТХАУЗ. 1945



34
МАЙЯ МУРАТОВА. КОВРОВЩИЦА. 1947



35
ТУРКМЕН. 1947



36
ШАХТЫ. САФОНОВО. 1955





37
СТАРЫЙ КИСЛОВОДСК. 1949



38
ДЕРЕВНЯ МАЗИЛОВО. 1955



39
РЕКА МОСКВА. ЛУЖНИКИ. 1953

сонесом (вместе с кинорепортером Микошей), делал зарисовки и писал маслом.

Три месяца этого года пролежал в госпитале.

В ноябре 1944 года был послан на Дунайскую флотилию. Под начальством майора В. Городинского проделал на катерах Дунайской флотилии и по суше путь от Одессы через Измаил, Галац, Бухарест на Белград. Выпускал листовки, плакаты, рисовал — собрал большой материал по Югославии. В апреле был отозван в Москву, после чего в конце апреля был снова послан на Дунайскую флотилию. В этот период побывал в Констанце, Бухаресте, Белграде, Будапеште, Вене, Праге.

31 декабря 1945 года я демобилизовался.

В героическом Крыму

У меня (я не исключение) сохранилось далеко не все из того, что было сделано в годы войны в фронтовых условиях. Но сохранившееся рассказывает об очень многом, напоминает события, людей, с которыми судьба свела меня и на Черном море, и на Балтике, и на Дунае, и в героическом Ленинграде, и в горах Югославии. И все-таки всего сильнее, ярче, подробнее всегда вспоминается первый год войны — тяжелый, горький год в героическом Крыму, где первые впечатления войны ввели меня, как художника, в круг военных тем и крепко спаяли с морем и флотом.

На действующий Черноморский флот мы выехали вчетвером — В. Фирсов, Ф. Решетников, Л. Сойфертис и я.

Севастополь. Безоблачное спокойное небо. Синяя бухта. Редкие налеты — пока немцы магнитными минами забрасывают только фарватер и бухту. О войне здесь узнали в ночь с 21 на 22 июня 1941 года — магнитная мина, упавшая близ памятника обороны Севастополя, и объявила войну.

В Килен-бухте на рейде стоит красавец «Харьков», первым бомбивший Констанцу, крейсеры и подводные лодки.

Жадно стараюсь запечатлевать все. Работаю на кораблях и схватываю их очертания. Стараюсь занести на бумагу и холст облик героев.

Вот лидер «Харьков», вернувшийся из боевой операции с победой, он первый нанес удар по врагу. Следы недавней схватки еще свежи на теле корабля. Спешу побывать на нем, знакомлюсь с командирами, комиссаром, расспрашиваю участников исторического похода, жадно рисую, пишу маслом, собираю материал, воссоздающий картину похода на Констанцу. Я не раз бывал на «Харькове», временами жил на нем. Силуэт лидера необычайно красив: стройный, с сильно наклоненными трубами, они — олицетворение прорыва.

Но радость от успешно выполненной операции омрачена

тяжелой горечью утраты — на глазах боевого экипажа «Харькова» погиб лидер «Москва».

26 июля 1941 года получен приказ. «Москва», «Харьков» режут вражеские воды. Вдали в предрассветном тумане — Констанца, похожая с моря на Одессу.

Боевая тревога. Оба корабля на боевом курсе. Ведут огонь по вражескому берегу. Снаряды ложатся прямо над Констанцей. Нарастают разрывы, горит намеченная цель.

Вдруг страшный по силе взрыв, столб воды, нефти. Прямое попадание — корабль «Москва» тонет.

Вместо красивого боевого корабля две изуродованные части да герои моряки, которые до конца выполняют свой долг. Главный калибр на одной и другой половине не прекращает огня. Черные от взорвавшихся баков с нефтью, опаленные взрывом, продолжают борьбу моряки. Обе части корабля медленно погружаются в воду.

Матросы стоят по горло в воде и, сорвав с головы бескозырки, с криками «Ура!» машут ими, прощаясь с жизнью и товарищами. Еще мгновение, и над остатками корабля сомкнулось море.

На воде остались обломки, редкие фигуры плавающих и много бескозырок с черными лентами.

С первых же дней идет работа над плакатом. Вместе с другими товарищами я делал плакат, посвященный обороне Одессы от фашистских захватчиков.

А фронт приближается. Враг захватил дунайские берега, форсировал Днестр, Днепр, мы потеряли Николаев, Херсон.

Тяжелые мысли сковывают сердце. И тем больше высоких чувств и гордости вызывает стойкость Одессы, порождая в каждом моряке волю к победе, волю, не оставлявшую его и в самые тяжкие времена.

Гремит в эти дни слава Первого полка морской пехоты. Из уст в уста передаются рассказы о подвигах Я. Осипова, легендарного командира этого полка. С кораблей идет пополнение. Все молодые здоровые красавцы, мужественные и такие юные!

С новым пополнением Л. Сойфертис уходит в Одессу, а я и Ф. Решетников вскоре едем на Перекоп. Проезжаем Симферополь и минуем пояс укреплений — Биюк-Онлар, Сарабуз. Здесь стоят авиаполки. Сарабуз — место, откуда летали отважные летчики бомбить Плоешти, Сулину, Констанцу.

Фронт входит в нашу повседневную жизнь. Начинаем и мы чувствовать себя фронтовыми художниками. «Посвящением» в художников-фронтовиков руководит корреспондент газеты «Правда» Леонид Коробов, на машине которого мы едем. Даже первое «творческое» задание получаем от него — мешая сухую охру с грязью, красим его «эмку» в маскировочный цвет. Вместо кистей пользуемся сапожной щеткой и тряпкой. Машина приобретает отвратительный вид, но бывалые люди находят, что маскировка нам удалась.

Ночь. Блестит Сиваш. Мы в отряде морской пехоты.

Стоим севернее деревни Ассы. Справа Бромзавод. Резко бьют минометы. Над нами проносятся редкие снаряды. Идет обстрел наших коммуникаций. Бойцы морской пехоты напоминают рыцарей: на голове шлем, бескозырка. Широкие складки плащ-палатки создают ощущение монументальности. Под плащом одежда смешанная: бушлаты, ботинки, шинели, неизменный «клеш» и на широкой груди сквозь распахнутый бушлат — полосатая тельняшка.

Когда выбивали немцев из деревни Ассы, краснофлотцы, сбросив с себя верхнюю одежду и оставшись в полосатых тельняшках, во весь рост пошли на немцев. Это была своеобразная психическая атака. Одно только сознание, что идут матросы, повергло немцев в панику. Они обратились в бегство...

Решетников и я при луне рисуем солдат морской пехоты. Ничего, оказывается, можно и при луне. На другой день прибыли в артполк, героически бившийся за Перекоп. Рисую двенадцатилетнего Женю, воспитанника полка. На вопрос, что он делал, когда попали в окружение, с достоинством отвечает:

«Дяденьке Григоренко винтовку заряжал!».

Неподалеку от расположения артполка стоит тяжелая морская батарея. Пошли с Ф. Решетниковым на ее наблюдательный пункт. Впереди виден Каркинитский залив. На его противоположном берегу — немцы, строящие укрепления. Вскоре наши бомбардировщики сбросили груз, и на немецкой стороне встает лес разрывов...

Возвращаясь с наблюдательного пункта, идем через открытое поле и видим: летят немцы нанести ответный удар. Идут низко. Ложимся. Нигде ни куста, ни канавки. Черная шинель страшно демаскирует.

Я, признаться, растерялся, Решетников нет. Смотрит на меня и говорит: «Давай вываляемся в пыли и нас с воздуха будет трудно заметить». Так он и сделал. Снова лег и абсолютно слился с местностью. Следую его примеру, хотя и жаль пачкать новую шинель. Немцы прошли, нас не заметив. А надо сказать, в ту пору они гонялись за каждым отдельным бойцом, замеченным в расположении наших частей. Когда мы вышли в тыловую зону, Решетников обнаружил, что на нем шинель фотокорреспондента Бориса Шейнина. Тут мы, конечно, вдоволь с ним посмеялись.

Возвращаемся в Севастополь.

Город уже не узнать: на площадях баррикады, перекрестки ощетинились ежами, повсюду колючая проволока. Начинается эвакуация. Бережно снимаем полотна с морскими баталиями, украшавшие комнаты Дома Военно-Морского Флота. Среди них и холсты И. Айвазовского.

Много пленных румын. Зелено-охристые меховые шапки, высокие, напоминающие туркменские папахи. Толпятся, жмутся в

кучу, танцуют от холода на месте, дуют на руки. Издали кажется, будто стадо баранов. Их грузят на баржу. Делаю наброски. Охотно позируют. В одном из пленных наши краснофлотцы узнали офицера Никулеску, у которого они служили в роте до присоединения Бессарабии к Советскому Союзу. В свое время у капитана Никулеску была довольно-таки тяжелая рука, а теперь в этом забитом, заросшем оборванце с трудом признаешь щеголеватого забияку.

Идут бои за Одессу.

Собираю материал для эскиза «Высадка десанта». Рисую в районе угольной гавани погрузку десантных войск на суда, идущие в Одессу.

Подъезжает катер: «Ваши документы!».

Предъявляю, но это не удовлетворяет. Предположили, что я, выдавая себя за художника, снимал планы. Меня под конвоем ведут в главную комендатуру. А надо сказать, что нашивки мы тогда носили интендантские. Но, когда мы прибыли в Севастополь, этих нашивок не оказалось в продаже, и мы купили медицинские. У них просвет зеленый, что изменяло наше звание, так как нам полагалось иметь просвет черный. Мы покрасили зеленый просвет в черный, но от времени нашивки опять позеленели.

Естественно, что это еще больше усилило недоверие ко мне.

На мое счастье, Л. Сойфертис видел, когда меня вели по городу под конвоем. Он позвонил нашему начальнику, и меня отпустили.

Напряжение растет с каждым днем. Одесса по приказу командования сдана. Через город то и дело проходят опаленные солнцем и порохом суровые защитники Одессы. В касках, с трофейными автоматами, обросшие щетиной, в грязи, печатают они свои шаги на улицах Севастополя.

Пишу этюды бойцов, рисую. Выполняю очередные задания редакции.

Построенный рабочими Севастополя бронепоезд «Железняков» с честью защищает свой родной город. Экипаж бронепоезда укомплектован лучшими моряками-черноморцами из учебного отряда и с кораблей. Внезапные набеги бронепоезда заставали противника врасплох, нанося ему большой урон.

Попытки врага обнаружить местонахождение бронепоезда были бесплодными. Поезд скрывался от противника молниеносно за крутым поворотом, в тоннеле.

По заданию редакции идем с Федором Решетниковым на очередную операцию «Железнякова». Познакомились с командиром и его боевой командой.

Нам указали места, где мы можем находиться. Разместились на разных платформах — Решетников в начале поезда, а я — в конце. Бронепоезд вышел из своего укрытия и помчался с большой скоростью. Перед очередной его операцией тщатель-

но проверяется путь, а впереди поезда на дрезине идет разведчик. Но вот поезд подошел к указанному месту, остановился и дал первый залп по расположению вражеских частей. Я так был оглушен залпом близстоящего орудия, что еле устоял на ногах. Немцы на этот раз открыли минометный огонь. Мины рвались рядом с бронепоездом. Была опасность повреждения пути, и все же поезд успел выполнить задание и уйти в свое укрытие.

Когда мы после этой операции делились своими впечатлениями с Федором, он мне рассказал: «Стою я на платформе с карандашом в руках и альбомом. Приготовился делать наброски. Бойцы, обслуживающие близстоящее орудие, проинструктировали меня, как надо вести себя при команде «огонь». «Главное — открывай вовремя рот»,— сказали они. А когда был дан первый залп, меня так шибануло волной, что я даже не заметил, как выпал у меня из руки альбом, а с головы улетела пилотка. Смотрю я на обстрелянных бойцов, хлопочущих у орудия, а они спокойно с юмором продолжают с высокой точностью вести огонь, несмотря на ответный минометный обстрел со стороны немцев. Стоит страшный грохот. Бойцы смотрят на меня и мимикой показывают, чтобы я открыл рот. А я, оглушенный, с закрытым ртом, как завороженный, продолжаю держать руку, как будто у меня еще в руках альбом».

Мое состояние было примерно таким же.

Сделал эскиз «Высадка десанта».

Немцы начали ожесточенную бомбежку бухты и порта.

Двое суток, забыв о сне, делаем плакаты на тему «Не пустим врага в Крым». Приносим в редакцию, разворачиваем и развешиваем плакаты на стенах, но редактор молчит. Изредка исподлобья бросает взгляды на нас его заместитель. Плакаты не обсуждаются. Нас мягко выпроваживают за дверь. В чем дело? Только тут мы узнаем печальные новости о событиях происшедших за те два дня и ночь, что мы работали над плакатами. Фронт прорван. Евпатория пала. Враг стремительно идет на Симферополь. Готовность номер один. Каждый знает свое место по тревоге.

А вскоре пал и Симферополь. Шоссе, ведущее на Севастополь, обстреливается из дальнобойных орудий.

Над Северной стороной зарево. Горит Кача. Небо изрезано лучами прожекторов. В перекрестке лучей повис самолет врага. Батареи Северной стороны открыли огонь. Заговорила корабельная артиллерия. Город наполнен грохотом разрывов. В небе наш самолет. Цепочка трассирующих пуль протянута между ним и противником. Противник отвечает короткими очередями. Прожекторы, как по команде, гаснут. Идет воздушный бой.

Развязка наступает быстро. Море сомкнулось над вражеским самолетом. Лишь трупы фашистов выброшены на камни.

Город в кольце. В развалинах улицы Ленина, Маркса, Со-

ветская, Корабельная сторона. Разрушен дом генерала Тотлебена, Музей Черноморского флота. Горы щебня, воронки. Обломки лепного потолка запутались в парусах судна. Это модель корабля, на котором находился флаг адмирала Нахимова. Сорванные эстампы Домье и рисунки Гаварни повисли клочьями. Шляпа генерала Тотлебена, старинный дагерротип, барабан, быть может, один из тех, под частую дробь которых саперы и пластуны отбивали атаки врага,— все изломано, исковеркано.

Ни трамваев, ни воды, ни света. Газета печатается в редакции вручную. В школе, где мы живем, остаемся вдвоем—Л. Сойфертис и я. Остальные ночуют в редакции. Ночью проснулись от выстрелов. Где-то неподалеку слышим разрывы снарядов. В эту ночь начался обстрел города из орудий и минометов .

Много рисую на улицах пустынного города. Прохожие редки. Иногда пронесется собака, не теряющая надежды найти своих хозяев, оставивших ее одну. С жалобным мяуканьем, доверчиво подбегает породистый кот и ждет ласки.

Город необычайно хорош, город-музей! Все в нем важно, все ценно... Нужно успеть зарисовать и чугунную ограду Владимирского собора, и его величественные своды. Под ними покоятся останки выдающихся русских флотоводцев, героев Синопа и обороны Севастополя — М. Лазарева, В. Корнилова, П. Нахимова, В. Истомина. Рисую минную башню, несущую вахту в дни обороны Севастополя 1854—1855 годов, вставшую на боевую вахту и сейчас. Но вот очередной налет, и на месте стройной красавицы башни — развалины. Иду дальше. Спешу зарисовать памятные места Севастополя, тороплюсь.

Памятник А. Казарскому, Краснофлотский бульвар, воспетый многими Приморский бульвар. Это здесь в дни обороны Севастополя 1854—1855 годов по воскресеньям играли полковые музыканты и устраивались гулянья с каруселью, чтобы дать врагу понять, что русские, хотя и окружены, но духом крепки и непоколебимы.

И теперь, осенью 1941 года, когда солнце так ласково греет, а издали доносится грозная канонада, сады и бульвары полны оставшимися севастопольцами.

Рисую Константиновскую и Михайловскую батареи — верных часовых Севастополя, защитивших его в 1854—1855 годах от огня английской эскадры, вставшей на отдаленном рейде. В годы Великой Отечественной войны они вновь послужили Родине, чтобы в июне 1942 года «каменной грудью» все еще защищать истерзанный город.

Бухта пустынна, лишь ночью приходят неутомимые эсминцы и транспорты — подвозят бойцов и боепитание.

Работаю в газете. С увлечением делаю самые разнообразные рисунки. Печатают их охотно, но очень искажают. Делаю и карикатуры. Печатают, но чувствую себя в этом жанре скованно. Выезжаю по заданиям на передовые.

Сколько интересных встреч! А какие люди!

Отряд капитана Волкова. С ним я встречаюсь вторично: первый раз на Перекопе, второй — здесь.

Капитан Буров — бесстрашный разведчик, его специальность — по тылам немцев за языком.

Тридцатая батарея. Командир Г. Александер. Подтянутый, невысокого роста человек с тонким, строгим лицом и неожиданно приветливой улыбкой. Охотно позирует, хотя и не может уделить много времени. Разговариваем. Его имя гремит наряду с именами прославленных командиров полковников Е. Жидилова, А. Потапова.

Доброволец Паша Михайлова — хрупкая, синеглазая. Сначала была в армейской части. С оружием в руках вырвалась из окружения. Дрогнувших вдохновляла личным примером. Вынесла с поля боя около восьмидесяти раненых.

Мекензиевы горы. Отряд училища береговой обороны.

Будущие командиры, не дослушав лекций по тактике, со школьной скамьи пошли в атаку и задержали немцев у Бахчисарая.

Блиндаж. Тусклый свет керосиновой лампы. Над столиком склонились командир отряда Костышин, его комиссар Вольфсон, начальник штаба Голубь.

Тишину нарушает телефонист. Он бормочет в трубку: «Грач? Грач? Говорит Ворон! Отвечайте, почему молчите?» Вводят пленного немца. Грязный, шея повязана платком, поверх френча ползают «неразлучные спутники». В карманах порнографические открытки. Смотрит виновато. В плен он попал так: выбрался из землянки, а его цап... Короткий допрос. Существенного мало. Пленного перебрасывают в Севастополь.

Идет воздушный бой. От одного из фашистских самолетов отлетает что-то темное неопределенной формы, появляются парашютисты один, другой, третий. Самолет с резким свистом врезается в море. Наш катер мчится подобрать спускающихся на парашютах немецких летчиков. С немецкой стороны открывают частый минометный огонь, преграждающий дорогу катеру. Катер сворачивает к берегу. Парашютисты находят смерть в пучине моря.

Все это зарисовал.

Снова возвращаемся в Севастополь. Здание панорамы по-прежнему венчает город. Строят блиндажи близ памятника русским саперам и генералу Тотлебену. Возводят дзоты. Малахов курган снова поднялся на защиту города.

7 ноября мы были воодушевлены парадом на Красной площади.

Взять Севастополь фашистам, как им хотелось, коротким ударом не удалось. Бои за город приняли затяжной характер.

Попытка врага, предпринятая 7 ноября, прорваться в город танками была героически отражена пятью отважными защит-

никами города. Николаю Фильченкову, Василию Цибулько, Юрию Паршину, Даниилу Одинцову и Ивану Красносельскому посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза, а на месте их подвига в 1944 году установлен памятник.

Озверелый враг жесток и беспощаден. В районе Ялты фашисты потопили теплоход «Армения» с ранеными и эвакуированными, несмотря на знаки Красного Креста на трубах.

В эти дни на Севастополь обрушиваются тысячи тонн смертоносного металла, а город стоит и перемалывает живую силу и технику озлобленного врага.

Работать с каждым днем становится все труднее. Частые бомбежки вынуждают прерываться по многу раз.

Работаю напряженно. Больше рисую. Масло уступило место карандашу. Обстановка требует лаконичности и простоты. Рисую начисто, по возможности без поправок. Общая собранность сказывается и в рисунке.

Чувствую колоссальный пробел: я до войны мало уделял внимания наброску, совершенно не изучал стаффаж. На ходу стараюсь овладеть методом, которого требует обстановка.

Свистят мины, снаряды. Вздрогнешь, проводишь глазами невидимо следующий звук и рисуешь снова.

Ко всему этому прибавилась еще трудность: во время работы каждый прохожий норовит задержать. Как-то пожилая женщина усмотрела в моих рисунках съемку планов, в другой раз бдительные пионеры привели ко мне патруль. Помню, 8 ноября нервничавший старшина чуть было не подстрелил меня. А то был такой случай: сижу на Килен-площадке и рисую крейсер «Микоян». Рисунок близится к концу. Подходит катер, и меня приглашают сесть в него. Отказываюсь, мотивируя незаконченностью работы. Настаивают. Предъявляю документы. Грозятся применить физическую силу. Приходится подчиниться. В комендатуре выясняется недоразумение, и меня отпускают. Но рисунок сорван. Прошу отвезти меня туда, где я работал. Везут, хотя и с меньшим рвением.

Ноябрь месяц в осажденном Севастополе проходит напряженно, с большой духовной отдачей. Частые выезды на передовые, непрерывные бомбежки, обстрелы. Много моих рисунков печатается в газете «Красный Черноморец». Впечатления от встреч с передним краем настолько велики и ни с чем не сравнимы, что, конечно, послужат для меня незаменимым материалом в дальнейшем.

Мне никогда не забыть одну бомбежку и тот страх, который я испытал. Я до сих пор не пойму, как я остался цел. Когда налеты повторялись бесконечное количество раз в день, мы особенно переживали за Москву.

Последний день в осажденном Севастополе. Рано утром собрались в район боевых действий прославленного отряда Волкова. Неожиданно срочно вызывает начальство.

Приказ: отплываем в час дня на новую базу. Быстрые сборы, прощание, и вот мы на крейсере «Коминтерн».

На нем же — рабочие типографии, их семьи и, конечно, раненые. Узнаем, что идем в Поти.

В порту следы мин, снарядов и кровь. Как удастся дойти до Поти, не знаю. Над нами летают стервятники. Ночь спали плохо. Днем — боевые тревоги. Нас выследил немецкий самолет-разведчик. Значит будут бомбить. Идем тихо, так как крейсер сопровождает четыре транспорта. Это ставит нас в невыгодное положение в случае бомбежки нашего эшелона немецкими самолетами.

Мы должны быть доставлены в Сочи. Но в силу сложившихся в пути обстоятельств, маневрируя, эшелон меняет курс, и мы выходим к турецким берегам. Идем довольно близко от Анатолийского побережья. Можно разглядеть простым глазом берега, горы. Только на четвертый день мы прибыли в Батуми, что для нас оказалось полнейшей неожиданностью.

Батуми мне не понравился. Городок, правда, чистенький, и много зелени, много пальм (которые я никогда не любил), к тому же ужасная погода. Идет непрерывный дождь, снег, холод невероятный — пронизывает насквозь, на нас нитки сухой нет.

Теперь наша задача — добраться до своей базы в Сочи.

Проездом через Тбилиси, мы проводим там шесть дней, совершенно изумительных шесть дней.

После постоянного ощущения тревоги, вызванного близостью врага, опасной дорогой, вдруг очутиться в городе, где нет затемнения, где море огня, веселая публика, где война почти не чувствуется,— это было поистине великолепно!

Встречаем многих эвакуированных сюда знакомых.

Нас очень тепло приняли. Мы же из Севастополя! Где земля горит, где все так далеко от мирной жизни. Нас встретили как посланцев героического города.

В Тбилиси собран «золотой фонд страны». Здесь актеры МХАТ В. Качалов, О. Книппер, М. Тарханов и другие; здесь лучшие актеры Большого и Малого театров; здесь же архитекторы братья Веснины, В. Гельфрейх, художники И. Грабарь, Н. Чернышев, В. Сварог, Н. Ульянов, И. Павлов, Л. Туржанский, А. Кутателадзе, Д. Налбандян, К. Зданевич.

Гуляем по городу. Улица Шота Руставели. И вдруг навстречу нам идет в неизменном кожаном пальто, в легких кавказских сапогах, с осетинской шапкой на голове Миша Гуревич.

Расспросам, разговорам нет конца. Бродим по кривым, с нависшими балконами улочкам старого Тбилиси, поднимаемся на фуникулере, и, наконец, мы у подножия старинной крепости, откуда открывается красивая панорама города.

Вспоминаем прошлую жизнь, оглядываемся назад, перед нами встают далекие ушедшие годы. Война особыми красками окрашивает прошлое.

Мы с Мишей земляки, он родился, как и я, в Смоленске. Ребенком попал на Кавказ, и здесь прошли его детство и юность.

Дядя Миши Гуревича до самой революции выпускал единственную в Смоленске газету «Смоленский вестник».

Перед самой войной мы вместе с Мишей участвовали на выставке смоленских художников.

С особой трогательностью в этот суровый военный 1941 год, далеко от Москвы вспоминаем мы мирное время.

Вечером все собираемся в подвальчике «Кавказ» на той же улице Шота Руставели.

За столом И. Павлов, супруги Сварог, Г. Розанов, А. Кутателадзе, Д. Налбандян, Л. Сойфертис и другие.

Миша в ударе. Остроумно, весело импровизирует лезгинку. В зубах у него страшный нож, а в руках по вилке. До конца вечера Миша остается незаменимым — душой общества, источником остроумия, импровизаций.

Наконец мы в Сочи. Это наша база. По характеру нашей работы нам придется все время разъезжать.

Вскоре мы с Сойфертисом получили из Тбилиси письмо от Миши Гуревича. Миша писал, что после бесконечных его заявлений в военкомат, наконец, удовлетворено его желание быть на фронте. Его призвал Закавказский военный округ.

Попав в окружение и расстреляв все снаряды, оставшись без орудийного расчета, он прямой наводкой, сам заряжая орудия, бьет по движущимся вперед немцам и героически гибнет, выполнив до конца свой воинский долг.

В Союзе художников на гранитном постаменте под мемориальной доской стоит бюст Героя Советского Союза, живописца и графика Миши Гуревича.

Декабрь 1941 года. В Феодосии и Керчи высажен наш десант. Это — дерзкая высадка военных моряков под командованием капитанов I ранга Н. Басистого и В. Андреева.

31 декабря, канун нового года. Сегодня у нас всех большая радость. Узнаем о взятии Керчи и Феодосии.

Рисую на рейде шхуну, которая принимала участие в высадке десанта под Керчью. Эта шхуна попала под сильный огонь противника с воздуха, из ее команды одних убитых — двенадцать человек и много раненых. Четыре дня их носило в море в разбитом суденышке, и лишь на пятый день подобрал их катер и отвел в Сочи.

Я и Сойфертис с новым броском десантников идем на крейсере в Феодосию. Высаживаемся в абсолютной темноте. Город почти два месяца был в руках немцев. Доносится канонада, короткие пулеметные очереди — это еще не выбитые немецкие автоматчики.

Феодосию не узнать. Порт, набережная разбиты. Мост через железнодорожное полотно на полпути обрывается. Генуэзская башня стоит, возвышаясь, над развалинами. Трещина от неда-

лекого взрыва как новая морщина на ее челе. На улицах следы недавней схватки.

Среди разбитых зданий сохранилась галерея И. К. Айвазовского. Обвитый сорванными проводами, поседевший от извести, сидит бронзовый Айвазовский с палитрой в руке на своем пьедестале.

Разыскиваем семью Айвазовского. Знакомимся с женой художника. Находим ее в глубоком подвале под галереей.

В центральном зале — скамьи, наспех сколоченная сцена, портал и задник расписаны мелкими цветочками. Здесь глава города предполагал дать новогодний бал господам офицерам.

Идем дальше...

У комендатуры толпятся педагоги, происходит перерегистрация. Патруль ведет арестованных. Пленный немец с трудом передвигает ноги. Густая щетина вместо усов и бороды. Страшный вид, весь выкатан в пуху — прятался в перине.

Редкие прохожие глядят приветливо. Здороваются, считая нас своими избавителями.

На сером доме с фигурным фронтоном объявление: «В этом доме живут немцы. Кто позволит себе что-либо недоброе по отношению к ним, будет расстрелян». Объявление на трех языках: татарском, русском, украинском.

Навстречу идет серая офицерская кубанка под конвоем. Вид затравленного волка. Зло и жестоко глядит из-под густых бровей. Высокий рост, по-военному собран, немецкая шинель внакидку — это голова города Грузинов.

Забираюсь в камеру, где содержатся предатели. Делаю набросок с водворенного сюда Грузинова. С подчеркнутой любезностью он говорит: «А теперь, быть может, хотите нарисовать меня в шинели?» На вопрос лейтенанта: «Что, не ждали нашего прихода?»— нагло отвечает: «Нет, ждали, но только позже». Тут же его заместитель — жалкий, заискивающий человек. Рисую и его. Он говорит: «И вот теперь рисуют нас в назидание потомству».

Мне было интересно и полезно наблюдать поведение предателей. В жизни они выглядят значительно менее карикатурно, чем их иногда изображают в художественных произведениях.

Вместе с предателями сидят пойманные накануне немецкие летчик-офицер с подбитого самолета и двое солдат. Солдаты держатся заискивающе. Летчик хмур и ни на кого не смотрит.

Возле горсовета, между телеграфным столбом и тополем, доска — обычная доска — это виселица. Здесь были повешены безымянные патриоты. Ветер, раскачивая концы срезанных веревочных петель, напоминает о свежих следах жестокостей, оставленных гитлеровцами.

Бывшее здание милиции. Здесь было гестапо, и именно здесь десанту в ночь на 29 декабря было оказано наибольшее сопротивление. Входим в одну из камер. На стене много надписей.

Одна из них навсегда запоминается: «Мария, что живет на Набережной улице, дом № 15, выдала меня гестапо — прощайте товарищи. Отомстите за меня. Старшина II статьи Никодимов».

При нас привели выбитых из засады автоматчиков, всего одиннадцать человек. Оружие успели спрятать. Держатся ничего не понимающими, уверяют, что они ездовые.

Пробуем рисовать. Остаемся Сойфертис и я с двумя пленными. Они смотрят исподлобья, не могут понять, что мы собираемся делать. Трусят. В свою очередь и мы думаем: «Как бы чего не вышло...» Косимся на дверь.

Бродим по двору и в здании бывшего гестапо. Находим длинный резиновый бич — один, другой. Натыкаемся на письменный стол, ящики которого набиты грудой паспортов. Это документы расстрелянных евреев. Валяется детская зеленая шубка с вылезшим кроличьим воротничком. На груди, слева, шестиконечная звезда. Пара варежек торчат из кармана. Дальше еще пальтишко, меховая курточка, крохотные туфельки... Это «Детская комната». Здесь хранилась одежда умерщвленных еврейских детей. В других комнатах в образцовом порядке сложены пальто, шубы. Что это? Скупочный пункт вещей у населения? Это имущество расстрелянных! Оно говорит о многом, о страшной трагедии, впечатляющей и навсегда запоминающейся...

Фашисты в первых числах декабря провели регистрацию всех граждан еврейского происхождения и объявили о том, что они будут выселены, для чего им следует с собою взять самое необходимое. Когда евреи явились, взяв с собой лучшую одежду, вещи и другие ценности, их отвели к противотанковому окопу, раздели и там расстреляли. Всего расстреляно около 1800 человек.

Подавленные, молча выходим отсюда. Бродим по городу.

Краснофлотец, бравший Феодосию в первом броске, ведет нас тем памятным путем, по которому он прошел с отрядом в ночь взятия города. Каждый камень, каждый подъезд оживают перед нашими глазами. Встают картины недавнего боя.

Разрушенный дом. На столе наряженная елка. Игрушки, рождественская посылка — бутылка с недопитым французским коньяком, норвежские сардины, недокуренные сигареты. Свечи на елке зажечь не пришлось: хозяин комнаты—толстый майор—бездыханным лежит в подъезде, даже не успев натянуть на себя штаны.

Еще одно из тяжелых воспоминаний первого дня в Феодосии — похороны погибших при высадке десанта героев-краснофлотцев и красноармейцев.

Серый дождливый вечер. Кладбище. Похороны необычны. Писатель Л. Лагин, художник Л. Сойфертис и я — вот все, кто присутствует на гражданских похоронах. Парторг Масленников провожает в могилу своих боевых товарищей.

Памятное место: стена из грубого камня, в стене — мрамор-

ная плита. Надпись: «Здесь расстреляны в 1918 году и похоронены борцы за Советскую власть и свободу Крыма». Неподалеку, в нескольких шагах, хоронят тех, которые сегодня положили свою жизнь, защищая свою Родину и свободу. Юные безусые лица, на головах ушанки, у многих под шинелью бушлаты, тельняшки. Их застывшие позы еще полны какой-то особой энергии. Смерть у большинства была мгновенной.

Приходим в расположение части, прорвавшейся в город первой. Рисуем ее людей. Вот наш проводник Кузьменко, добровольно ушедший с 10-й батареей в морскую пехоту, Сафошкин, уничтоживший лично 70 немцев, Айдинов — комендант города, доброволец Масленников — старый моряк.

На следующий день узнаю, что К. Богаевский живет в городе. Ищу его. Какая-то женщина вызывается провести меня к нему. Идем пустынными, мертвыми улицами. Кругом одни развалины. По дороге много трупов, разбитых немецких машин: грузовиков, автобусов, полицейских «Черных воронов».

Домик Богаевского. Сбитый обстрелом карниз. Сухой старичок открывает калитку. Это — сам Константин Федорович Богаевский.

Входим в мастерскую художника. Все запущено. Вид нежилой. Богаевский рассказывает о жизни при немцах. Показывает акварели последних лет, сделанные в прежней манере,— только похуже... Беседуем об искусстве, о войне. Вспоминаем наших общих знакомых по Москве. Но быстро темнеет. Нужно спешить. Обратный путь кажется значительно длиннее. Доносится канонада.

Побывали на развалинах дачи, где в 1890-х годах гостил А. П. Чехов. Остались лишь стены да мемориальная доска на фасаде.

Серое утро. Как бы нехотя пробивается солнце. К непрекращающейся канонаде прибавилась зенитная стрельба. Снова налеты с воздуха. Немецкие самолеты — один, два, три, четыре... Вдруг общая радость — в хвосте одного из них загорается как будто лампочка, вьется темный дымок, огонь разгорается сильнее, дым гуще. От самолета отделяются три парашютиста. Самолет, теряя управление, падает. Бежим в сторону Ильинского маяка ловить парашютистов. Бежать пришлось довольно долго. Один за другим со стороны моря идут на город фашистские самолеты, сбрасывая свой груз на зенитные батареи и порт.

Два парашютиста погибли, третий взят — кретин с прыщавым лицом, на фронт прибыл недавно. На допросе заявил: летал бомбить впервые.

Тревожный вечер. При свече рисуем героев взятия Феодосии: Фаясович, Герасимов, Пискун, Щекотов — старый моряк, балтиец, по прозвищу «Дядя Бас». Дядя Бас говорит: «Боялся я, не подкачали бы ребятишки, вытянут ли за нами, стариками балтийцами,— не только угнались, а даже перещеголяли».

Высадкой феодосийского десанта советские моряки повторили подвиг своих предков, но в более трудных условиях.

Однако враг всеми силами старается вернуть завоеванный город. Немцы перешли в наступление. Бои идут на окраине города.

Уходим из Феодосии на крейсере. За кормой, по носу ложатся снаряды. Прибыв в Батуми, узнаем: Феодосия сдана по приказу высшего командования.

Получено тяжелое известие — погиб художник Володя Фирсов. Первые дни в Севастополе мы работали вместе. Делали плакаты, карикатуры, работали под бомбежкой. Володю это не удовлетворяло, он считал, что его место — в строю солдат.

И вот он в отряде морской пехоты. Последний раз я виделся с ним в декабре 1941 года. Худощавый, веселый, полный энергии. Он — политрук. Его волновала новая жизнь — предстояли бои. Несколько раз ходил в атаку, его отвага служила примером для других бойцов.

Володя Фирсов погиб, защищая ставший нам всем родным город славы — Севастополь.

Передо мной лежит единственная память о нем и его работе в Севастополе — рисунок, сделанный им на одном из кораблей, все остальное погибло.

На кавказских базах Черноморского флота ни на минуту не прекращается работа по боевой готовности кораблей, которые непрерывно участвуют в боях с гитлеровскими захватчиками.

Работаю на кораблях. Величественный, с красивыми надстройками крейсер «Молотов». Он только что вернулся из операции. Бойцы и командиры рассказывают о трудностях боевых действий в условиях шторма.

Рисую героев: командира дивизиона Пахомова, старшину I статьи Савченко, боцмана Нищенкова. Пишу корабельные интерьеры.

Ночь. Идем на крейсере. Боевая тревога. Обстрел вражеского берега. Сильные вспышки выстрелов, резкий звук, и снова абсолютная тишина.

Пишу рыбачьи сейнеры. С них высаживался десант в Керчи. Маленькие и юркие суденышки незаметно подкрадываются к берегу.

С кораблями, ныне гвардейскими, «Красный Кавказ», «Красный Крым», «Коминтерн» связаны у меня теплые хорошие воспоминания, а в папках — не один рисунок облика корабля-героя, героев-краснофлотцев, командиров, друзей и товарищей.

Особенно памятны и хочется выделить некоторые «портретные» встречи первого года войны. Вот гвардии полковник К. Юмашев (потом генерал, Герой Советского Союза). Волевой рот, серые умные глаза. Он командует группой самолетов. Да и сам полковник сбил не один самолет, у него за плечами не одна сотня боевых вылетов.

Во время сеанса говорим об искусстве. Обнаруживаю в нем знатока. Получаю ряд ценных метких указаний. Оказывается, Юмашев в свое время учился в Академии художеств. В свободное время сам пишет, даже выставлялся (после войны был принят в члены Союза художников).

Полковник А. Потапов, невысокий, коренастый, с глубоко посаженными маленькими умными глазами, плотный, кряжистый, волосы ежиком. Лицо, обожженное солнцем, в левой части лица, под кожей, вырисовываются застрявшие осколки, создавая асимметрию лица.

Это его полк с декабря по июль 1941—1942 года отбивал все атаки врага на одном из подступов к Севастополю. Это его часть в июньские дни 1942 года приняла на себя сокрушающий удар озверевших фашистов, прикрывая отход воинских частей из города.

Комиссар полка Слесарев, веселый, остроумный человек с подвижным лицом,— талантливый волевой комиссар. Вместе с Потаповым они были под Одессой, вместе защищали Севастополь.

Полковник П. Горпищенко — яркая колоритная фигура. Рост более чем высокий, в плечах, как принято говорить, «косая сажень». Красивая голова, густые брови, живые карие глаза. Его имя известно всем от Севастополя до Крайнего Севера.

С. Карасев, сбивший методом, доступным героям высокого класса,— тараном немецкий самолет. Это за его воздушным боем, затаив дыхание, наблюдал весь Севастополь. Его грудь венчает Звезда Героя.

Суслин — капитан авиации, герой Одессы, Перекопа, Севастополя.

Краснофлотцы Петров, Шишко, Жуковский — это советские богатыри.

Петров—в штормовую декабрьскую ночь на крейсере «Красный Кавказ» бесстрашно пришвартовался к порту, занятому противником. Под жестоким вражеским огнем, не сходя с поста, обеспечил высадку десанта.

Жуковский — стройный, застенчивый, почти мальчик, артиллерист-зенитчик. Вражеская бомба, упав неподалеку от него, вывела из строя весь расчет. Жуковский остался один и, несмотря на контузию, продолжал вести огонь по фашистским самолетам.

Люся Кучерявая — комсомолка, прошла суровый путь от Дуная до штолен Инкермана. Люся военфельдшер, но на ее счету есть и ответственные хирургические операции. В санбат доставили раненого. Требовалась срочная помощь. Хирургов нет, раненому грозит смерть, и Люся с помощью подруги-санитарки делает сложную операцию.

Я сделал много портретных этюдов и рисунков с прославленных героев Севастополя. Я видел слезы на глазах этих отваж-

ных людей: им легче было умереть, чем отступать. Но приказ — есть приказ. И они ушли из города только для того, чтобы снова туда вернуться.

В сентябре 1942 года я был командирован в Москву для участия в выставке «Великая Отечественная война», где экспонировалась серия моих работ маслом — 22 работы, посвященные обороне Севастополя. За эту серию я был отмечен Комитетом по делам искусств дипломом второй степени.

Выставка была развернута в залах Государственной Третьяковской галереи. Первый раз в жизни мои картины были одеты в хорошие рамы, оставшиеся после эвакуации фондов Третьяковки. Рамы от вещей А. Иванова, В. Поленова, И. Левитана, К. Коровина и других художников.

Открытие выставки состоялось 7 ноября 1942 года. Выставка доходчиво, с волнением отразила героику тяжелого первого военного года и донесла до зрителя дух стойкости и самоотверженной борьбы советского народа за свою Родину. Эта выставка была большим патриотическим вкладом художников в дело борьбы советского народа с гитлеровской Германией.

В ответ на мой рапорт Политотделу Военно-Морского Флота, к которому было приложено все сделанное мною за это время на Черноморском флоте, меня командировали на Балтику, в осажденный Ленинград, где я находился с декабря 1942 по апрель 1943 года.

Ленинград. 1942—1943 годы

Севастополь и Ленинград. Тысячи километров отделяют их друг от друга. Казалось бы, колоссальная разница внешних обликов городов исключает всякое их сходство. Но несмотря на то что Ленинград выглядит холодным, мрачным великаном, а Севастополь невелик, домики в основном белые, тем не менее есть между ними общее — дух осажденного, но не покорившегося города, так роднящий эти далекие и не похожие друг на друга города-братья, героически защищающие свою свободу, свою Родину.

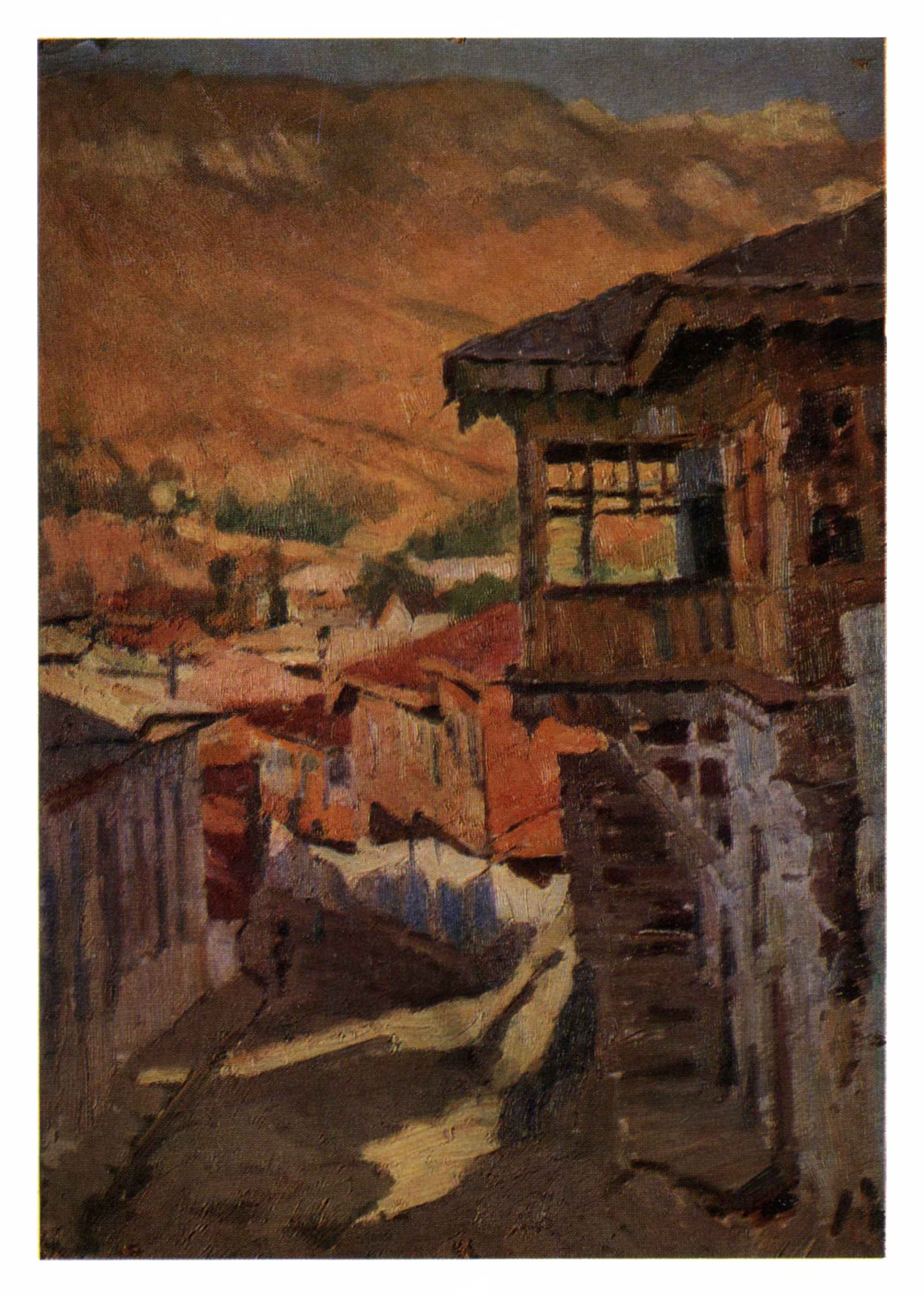
Холодное серое утро. Финляндский вокзал. На площади как бы срезанный наполовину цилиндр. Это памятник В. И. Ленину, укрытый лесами.

Шрамы и ссадины на фасадах домов, многие окна — черные дыры или слепые прямоугольники, забитые фанерой. Первые ленинградцы — узелки, сумки, нашейные платки. Красноармейцы с полуавтоматами, в полушубках, валенках. Моряки деловитые, строгие.

Позванивая, мелькая своими замороженными окнами, идет трамвай. Вдали ухают орудия кораблей. На саночках, там и сям, везут стропила, окна, двери, куски паркета — это Ленинград



40
ПОДРУГИ. 1947



41
ГУРЗУФ. 1949



42
СЕНТЯБРЬ. РУБКА КАПУСТЫ. 1946



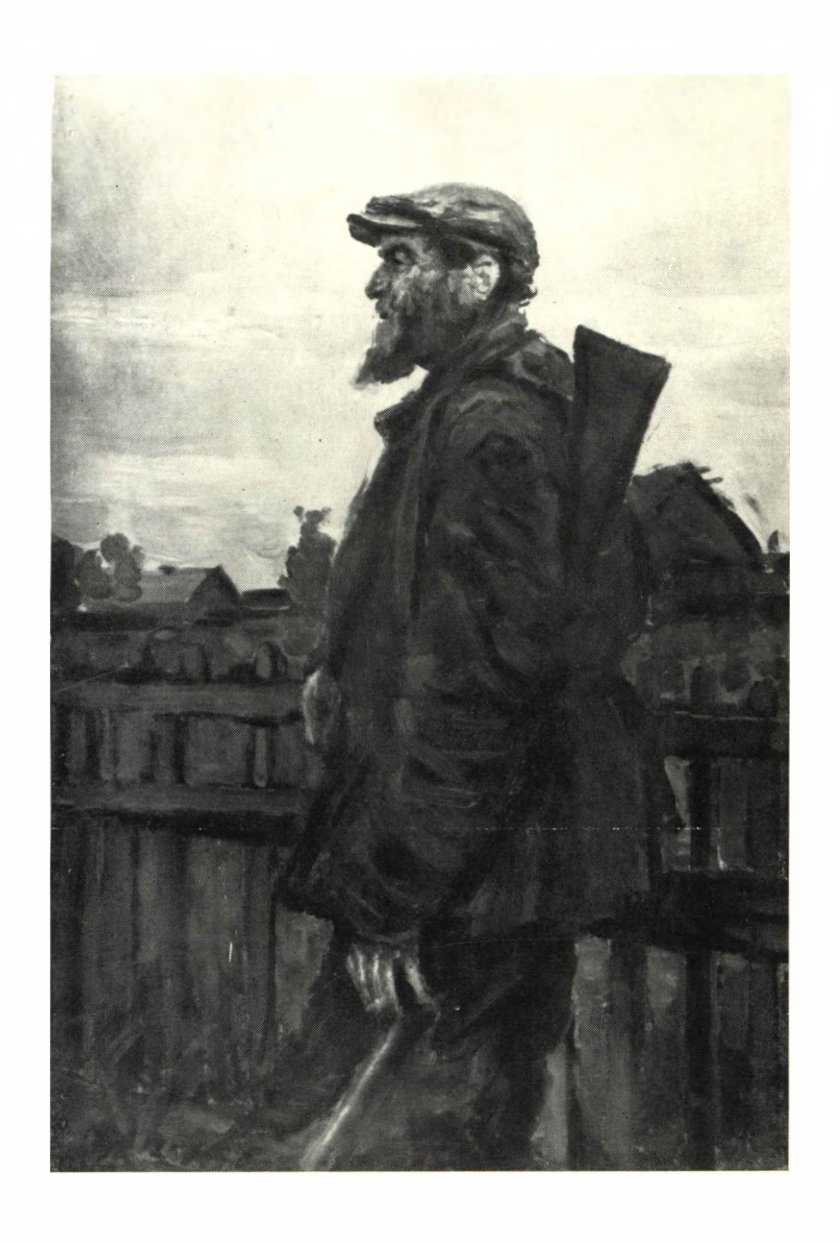
43
ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ. 1946



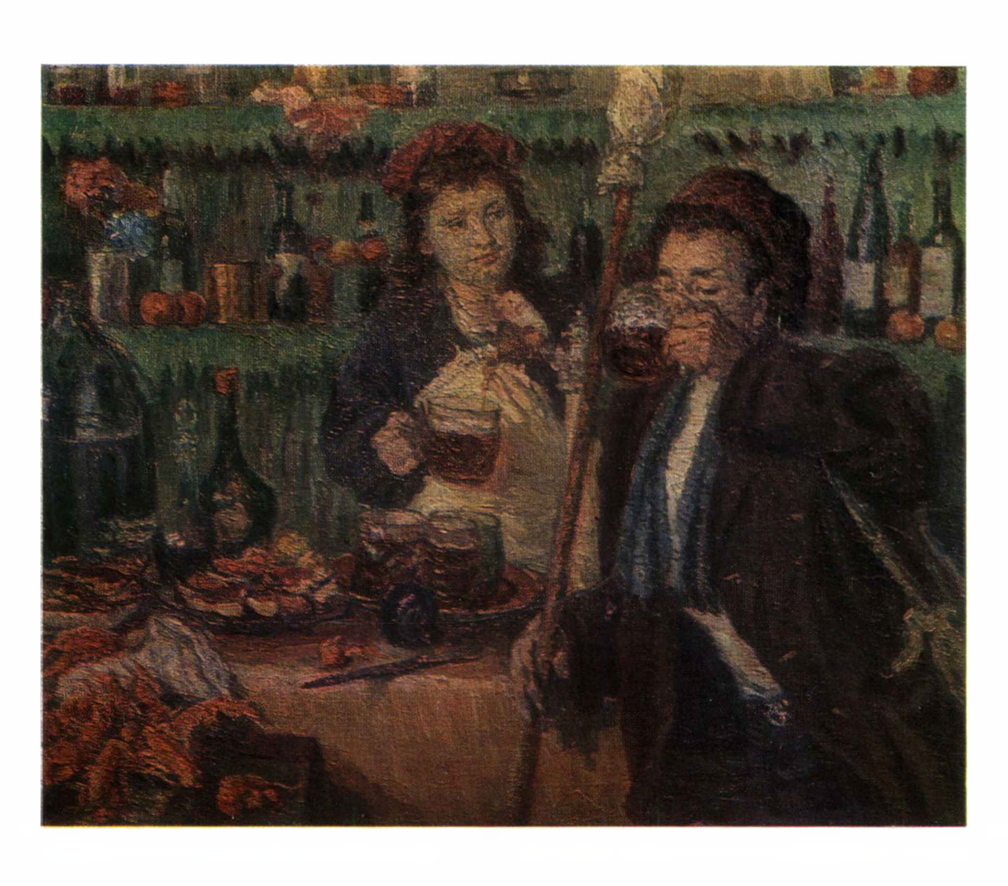
44
ЗА СТИРКОЙ. 1947



45
ГЕОРГИНЫ И САМОВАР. 1947



46
КОЛХОЗНЫЙ СТОРОЖ. 1955



47
С РАБОТЫ. 1947

принял суровое решение разобрать на топливо деревянные дома, не представляющие ценности, дабы спасти жизнь непокоренных ленинградцев.

Трогают стоящие на площади печи. Краткое пояснение — как следует готовиться к зиме: «Делайте сами себе теплое жилище».

Для устойчивых суровых ленинградских морозов моя одежда оказалась очень легкой. Я прибыл в обмундировании Черноморского флота, где зима бывает мягкая. На мне шинель, ботинки, фуражка.

И если бы не домашнее заботливое снаряжение: наушники, более утепленное белье и рукавицы,— я бы не выдержал такого мороза.

Несколько дней ушло на оформление командировочных и разрешительных удостоверений. Но вот все формальности позади, я поселился на эсминце «Славный». В первый же день выхожу с корабля на берег и располагаюсь рисовать возле эсминца. Мороз сильный. Но надо работать. Заметивший меня командир корабля спрашивает: «Что же, так и приехали сюда? Думаете работать в таком наряде?».

Я объясняю, что мой вещевой аттестат остался на Черноморском флоте. Командир корабля дает распоряжение «одеть художника». В каптерке, где находилась верхняя одежда, выдали мне валенки и полушубок. Не нашлось только шапки моего размера. Был единственный выход — одеть подшлемник, который носят под каску. В фуражке поверх матерчатого шлема вид у меня был смешной, нелепый. Поэтому, когда на наш корабль должен был приехать командующий флотом, вахтенный командир дал приказ: «Разыскать художника и приказать ему, чтобы не появлялся в этот день на палубе в своем одеянии».

Брожу с карандашом по городу. Адский холод, но не могу не работать. Адмиралтейство, Зимний, арка Генерального штаба — ранения невелики, но ран много. Те же дома, те же улицы, но движение по сравнению с довоенным Ленинградом значительно меньше. Последний раз перед войной я видел Ленинград в мае 1941 года. Разница великая.

В самом городе разрушений не так много, сильно изменился облик окраин. Да и неудивительно. Основные вражеские удары приняли на себя заводские окраины Ленинграда.

Все оставшееся население города вместе с бойцами и краснофлотцами — все стоят насмерть за жизнь города имени великого вождя революции В. И. Ленина.

Я видел бойцов, краснофлотцев, которые, несмотря на полученные, зачастую тяжелые ранения, не уходили из строя, не снимали с себя оружия.

Многие ленинградские здания превратились в крепости. Вот дом — уже обстрелянный боец. В окна 3-го этажа, как в рамы, вставлены кусочки серого ленинградского неба. А внизу, где была часовая мастерская, стал дзот, окна мастерской — боевые

амбразуры. И лишь повисшие на кронштейне рекламные деревянные часы да смеющийся с афиши С. Лемешев напоминают о вчерашних довоенных буднях.

Ленинградские дома, как и люди, имеют наряду со смертельными ранами легкие осколочные: выбиты кирпичи, сбита штукатурка, и раны как бы кровоточат, истекают коричневой пылью, тянущейся сверху вниз.

Невский по-прежнему великолепен, невзирая на витрины с битым стеклом и вывески с выпавшими буквами.

Грязный ленинградский снег как будто смочен кровью раненого города-героя.

И, несмотря на суровость выпавших на долю Ленинграда тяжких дней, всюду угадывается торжественная величавость города-бойца.

Удары, еще удары. Начался обстрел города.

Художники-герои — так хочется назвать ленинградских коллег, да и кто же может оспаривать у них это?

Серый нетопленый дом, холод, на полу лежит снег. Это мастерская Н. Дормидонтова и В. Кучумова. Вчера ночью рядом упала бомба, воздушная волна выдавила стекла в мастерских, и теперь в доме художников волнение потревоженного улья — чинят окна, но не прекращают работу.

На мольберте Дормидонтова живописная работа «Танковый завод». Танки для осажденного города делает сам осажденный Ленинград. Этим танкам суждено сказать в защите Ленинграда свое значительное слово.

Кучумов пишет батальную вещь «Бой в окрестностях Ленинграда» — большая панорама боя.

Оба в ватниках, с обмотанными шеями, оба простужены, но работы к выставке готовят. Обычный, рабочий беспорядок в мастерской и неотъемлемая «буржуйка» — милая печка — ей снова пришлось выйти на сцену и играть свою добрую роль.

В мастерской В. Серова. У него на мольберте сразу три полотна. Он полон энергии, наряду с творческой работой, ведет большую общественную работу.

В. Пакулин, И. Титов — с ними я не раз встречался на кораблях.

Как-то раз, приехав на линейный корабль «Октябрьская революция», на котором служил И. Титов, я оказался свидетелем артиллерийского обстрела гитлеровцев, окопавшихся на берегу. Хотя зима была суровая и условия для работы над этюдами были не совсем подходящие, Титов потащил меня чуть ли не под самые орудия, горя желанием запечатлеть пламя.

Меня потрясли вещи К. Рудакова. Холод, недоедание, бомбежки, обстрелы, близость фронта не сломили творческую волю художника, не снизили уровень его творчества. Так может работать только большой мастер и патриот.

Опять начался обстрел города. На улицах меньше народу.

Всюду «Окна ТАСС» Москвы и Ленинграда. Больше стало декорации на следах бомбежек.

Не обходится и без курьезов.

В первый же день моего прибытия в Ленинград мне несколько раз предлагают водку. Интересуюсь ценой — просят крупу; удивляюсь, почему у меня должна быть крупа?.. В дальнейшем выяснилось — на мне интендантские нашивки.

Рисую у Гостиного двора Невский проспект в сторону городской станции и Адмиралтейства. За мной долго следят две девочки, исчезают. Потом возвращаются с милиционером, проверяют документы — все в порядке, но девочки не унимаются. Подводят снова и уже не милиционера, а двух военных командиров, которым снова предъявляю документы. Успокоенные дети уходят очень удивленные.

Как ни странно, в городе достаточно детей. Эти девочки — из балетной школы.

Хоть и замерзают руки на ветру, хоть нелегко поспевать повсюду, но надо, надо все виденное запомнить, запечатлеть.

Писать маслом почти невозможно — краска не берется на кисть, пока только делаю рисунки. Рисую город, его улицы, перекрестки, Неву, набережную Невы, вмерзшие во льды корабли: «Ермак», «Октябрьская революция», краснознаменный «Киров», стройный «Вице-адмирал Дрозд», «Строгий», эсминец «Славный» — на этом корабле я жил, работал и крепко подружился с его боевым экипажем. Этому кораблю я подарил картину на тему о его боевых походах.

И вот прорыв блокады. Взят Шлиссельбург. Хочу видеть утро торжествующего города. Встаю затемно. Женщины-дворники вешают флаги. Лица радостные. Расцвечены флагами и корабли, вмерзшие во льды.

Вечером едем в Шлиссельбург. Со мной художник И. Семенов. Снова Ладога. Но уже нет обстрела трассы, названной ленинградцами «Дорогой жизни».

Идем по Новоладожскому каналу. Канонада все сильнее. Приближаемся к фронту. Над нами воздушный бой. Режут слух отрывистые удары пулемета, и падают, дымя, два самолета.

Рыбачий поселок. Здесь были немцы. Свистя, проносятся снаряды, мины.

Перед нами развертываются Синявинские торфоразработки. Это один из участков борьбы за Ленинград. Далеко открытые горизонты, дым пожарищ. Горит торф. Столбы земли и дыма тянутся к небу. Видно, как выходят из боя и вводятся в бой другие, свежие части.

Надпись по-немецки «Шлиссельбург» и стрелка. Завалы, рвы, противотанковые надолбы. Города, как такового, чистенького, небольшого — нет. Есть улицы труб, улицы обломков и все. Характерная деталь: дома нет, он сгорел, и лишь каменное крыльцо, поднимаясь вверх, ведет в никуда.

Горбатый мост — здесь была укрепленная точка, дальше фабрика им. Петра Алексеева — руины. Все разбито бомбежкой и обстрелом.

И, наконец, легендарная крепость «Орешек». Петровская твердыня выстояла и не сдалась. Узкая полоса воды отстояла ее от врага. Внутри крепости все разбито. Уничтожены памятники русской революции: камеры народовольцев, собор. Дворик, где был казнен брат Владимира Ильича Ленина, изрыт воронками.

Десятки тысяч бомб, снарядов, мин приняла на себя крепость. Семь раз прямой наводкой сбивали красный флаг, венчавший крепость, и семь раз флаг водружался снова. Зарывшись под Петровскую башню, носившую имя «Королевской», выдержали осаду моряки. Все это зарисовал.

И вот Кронштадт. Суровостью и строгостью повеяло от крепости моряков. Якорная площадь, знакомые силуэты кораблей.

Живу здесь уже несколько дней. Идет февраль.

В Ленинграде меня преследовала сковавшая все морозом отчаянная стужа, а здесь наоборот: стоит оттепель, идет снег пополам с дождем и, в довершение всего, ветер с южного берега — восемь баллов. Вода поднялась на метр выше льда, и прекратилось все сообщение с Ленинградом и противоположным берегом. Теперь я понял, что такое остров. Когда выберусь в Ленинград, не знаю.

На улице ничего делать невозможно. Работаю на корабле «Марат» и эсминце «Страшном». Рисую портреты прославленных моряков.

Поработал также на «верхних» миноносцах.

И снова Ленинград, подтянутый и вдохновленный снятием блокады. Появились улыбки на лицах идущих людей.

Несмотря на суровую зиму и тревожную обстановку военного времени, работал все время на воздухе и собрал большой материал (сделано более ста шестидесяти рисунков и тридцати этюдов маслом на тему участия кораблей Балтики в защите Ленинграда).

Когда я возвратился в Москву, Комитет по делам искусств поставил вопрос об организации показа моих фронтовых работ. Это была первая персональная выставка в серии подобных персональных выставок художников-фронтовиков. Она была открыта в мае 1943 года в Москве в залах Всекохудожника (Кузнецкий мост, 11). На выставке экспонировалось более двухсот семидесяти рисунков и этюдов, сделанных мною за первые два года войны.

Выставка была тепло принята зрителем. Ее высоко оценила пресса. Были статьи в «Правде», «Известиях», «Комсомольской правде», «Красной Звезде», «Труде» и других газетах.

Посетивший выставку генерал-лейтенант И. Рогов отозвался о ней положительно, спросив у меня, когда я это успел все

сделать. И посоветовал ряд тем, над которыми нужно работать в первую очередь. Контр-адмирал И. Азаров тоже хорошо отнесся к выставке.

Доброжелательная оценка выставки художников старшего поколения действует вдохновляюще. Вот несколько отзывов о моей выставке.

Отрывок из статьи В. Яковлева «На выставке художника Дорохова»:

«Я далек от мысли утверждать, что этот молодой мастер нашел широкие, всеобъемлющие слова, раскрывающие сущность происходящего во всем объеме. Его работы — это записная книжка, блокнот, где беглыми штрихами, короткими фразами, порой даже нечетко и скомканно излагаются пережитые мысли, встречи и наблюдения. А иногда это только ощущения, не имеющие ясного контура, но поразившие внимание мастера острой, подмеченной, выхваченной из жизни правдой.

А в наше динамическое время такой метод работы очень полезен и нужен. И работы Дорохова в этом плане представляются мне значительными и ценными.

В его работах нет грохочущих и эффектных баталий, но все, что он делает, это глубоко и искренне прочувствованная правда.

В беглых зарисовках, в скороспелых, но прельщающих своей искренностью этюдах живет трепетной жизнью суровая правда войны».

«Правда», 19 июня 1943 г.

Из статьи П. Соколова-Скаля «Художник на фронте»:

«Дорохов вошел в войну, как солдат. Без глубокомысленных умствований, он сразу отозвался средствами своего искусства на все новое, так не похожее на окружавшее его в мирной обстановке. Кисть художника стала скупее, рисунок — более точным. Четкие острые силуэты военных кораблей, суровая защитная их окраска, дымные горизонты военных портов, города, ощетинившиеся зенитными пушками, улицы в «ежах» и баррикады, обгорелые остовы зданий, люди в солдатских шинелях и матросских бушлатах. Вот новый мир, суровый и хмурый, в который вошел художник в войне. И так же серьезно и трудолюбиво, так же глубоко и обстоятельно принялся Дорохов за изучение новой натуры, как обстоятельно изучал он мирную природу, родной пейзаж, как глубоко и вдумчиво штудировал он этюды вузовцев и задумчивых молодых девушек.

Когда смотришь выставку Дорохова, испытываешь большое уважение к художнику, так серьезно и глубоко изучающему изобразительный материал фронтовой жизни».

«Известия», 16 июня 1943 г.

В первые дни войны, перед отъездом на Черноморский флот я зашел в редакцию «Комсомольской правды». Мне выдали корреспондентский билет, и я стал числиться специальным корреспондентом газеты. «Комсомолка» периодически печатала мои рисунки с Черноморского флота, из Ленинграда и с Дунайской флотилии.

Мне очень дорог отзыв Ю. Жукова о выставке, которая явилась как бы отчетом моего двухлетнего пребывания на фронте.

«Он пришел к нам в редакцию через несколько дней после начала войны и сказал, что едет в Черноморский флот. Как и многие, художник в те дни еще плохо представлял себе, что такое война, и трудно было уяснить себе, что будет делать на фронте он, Константин Дорохов, молодой мастер портретной живописи и способный пейзажист: за всю жизнь он не написал ни одной батальной вещи. Но художник твердо решил, что в дни войны он обязан быть в строю, и был счастлив, что командование флота разрешило ему разделить с черноморцами трудности и радости первых военных походов.

Прошло много месяцев. Ходили слухи, что его встречали то под Перекопом, то в Севастополе, то в Новороссийске,— война сразу же втянула его в свой водоворот.

Минувшей зимой он несколько месяцев провел в Ленинграде. Ему посчастливилось — он стал свидетелем больших событий: как раз в эти дни была прорвана блокада города. Дорохов опять работал много и упорно, хоть и мерзли руки на ветру, хоть и не легко было поспевать повсюду — и в Шлиссельбург, и в памятный «Орешек», и на корабли.

И вот — выставка. Большая выставка: триста работ. Она заняла весь выставочный зал Всекохудожника. Живопись, рисунки — все, что сделал художник на фронте почти за два года войны на Юге и в Ленинграде. Приходят художники, школьники, бойцы, молодые рабочие. Каждый рассматривает выставленные работы по-своему: один разглядывает их строгим глазом профессионала, другой как иллюстрации к тому, что написано в газетах, третий хочет, чтобы художник помог ему как-то осмыслить, прочувствовать внутренний мир фронтовика. В книге отзывов нет строк, от которых веяло бы неудовлетворенностью. И не потому, что художник хотел потрафить на всякий вкус. Нет, потому, что он искренен в своем творчестве, а искренность всегда подкупает.

Картины, этюды, рисунки говорят не только о войне. Они говорят и о самом художнике, о том, как война воспитывает его. Дорохов не случайно рядом с написанным в дни войны выставил свои работы мирного времени: «Девушка в розовом», «Ненка», портрет балерины, поленовские пейзажи. Зритель видит: жизнь течет мирно, пожалуй, даже безмятежно, и художник всем своим существом отдался этой созидательной жизни.

И вот война, выстрелы, кровь. События ошеломили худож-

ника. Его почерк становится немного нервным, торопливым. Он торопится все увидеть, все запомнить, все понять и осмыслить. Его этюды и эскизы этого периода напоминают дневник. Все подряд: корабль у причала, моряки на передовой позиции, корабль в доке, портрет, еще портрет, еще корабль. Художника томит жажда впечатлений. Находясь в осажденном Севастополе, он выезжает на передовые позиции, рисует на Мекензиевых горах. В памятные дни феодосийского десанта он спешит за передовыми частями, чтобы успеть запечатлеть все — и высадку прибывающих частей (ему ведь хочется написать в будущем картину «Десант»), и следы разрушений на улицах города, и виселицу, которую еще не успели убрать, и машину, брошенную немцами у могилы Айвазовского, и пленных немцев и румын, и предателя, только схваченного нашими бойцами.

Впечатления захлестывают его. Ему трудно отделить главное от второстепенного, трудно сосредоточиться на какой-нибудь одной теме, трудно выделить основное.

Быстро, буквально налету, иногда двумя-тремя удачными штрихами художник схватывает яркие типические черты. Старый матрос. Старый кочегар. Уголок Севастополя. Уголок на корабле. Перед тобою жизнь во всей ее красочности, во всем разнообразии и противоречивости! Часто художнику самому еще не ясно, как он использует собранный им богатейший живописный материал. Что ж, зритель говорит ему спасибо даже за эти беглые записи, потому что он видит: они правдивы.

Но вот в этом же зале целая стена отведена работам, которые резко отличаются от того, что мы только что увидели. Это Ленинград. Зима 1942—1943 года. Работы художника, который уже полтора года провел на войне. Время и опыт многому научили его. Его почерк стал спокойнее, его рисунок — искуснее. Но главное даже не в этом. Главное в том, что душа художника творчески обогатилась, что к нему пришла та уверенность, без которой немыслимо творчество.

Величественный эпос Ленинграда близок и понятен ему. Суровый колорит ленинградской военной зимы волнует его. До войны он бродил с этюдником по этим же самым улицам и площадям: вот они, этюды, сделанные до войны: «У памятника Екатерине», «На площади Декабристов», — много солнца, люди в красочных одеждах, и рядом — военный, мрачный, злой Ленинград, заснеженный, ощетинившийся пушками.

Вот два этюда (а может быть картины?). В них весь Ленинград, каким его увидел и понял художник. «Сумерки». Широкая занесенная снегом площадь; окутанный дымкой купол прекрасного здания, воспоминание о котором сладко томит душу каждого, кто хоть раз его увидел; по-зимнему голые деревья. И люди. Трое упрямых людей, идущих через пустынную площадь тяжелым, усталым, но уверенным шагом. И еще «Ленинград в осаде». Тот же серо-стальной, зимний, военный коло-

рит. Памятная нам всем набережная. Она пустынна. У стенки дремлет грозный корабль. Его пушки стерегут горизонт. Людей не видно, но каждая деталь этого полотна напоминает: они здесь, они бодрствуют, им тяжело, но у них нет и тени колебаний. И над всем этим, как жизнеутверждающее начало, как знак будущей победы, — яркий красный флаг корабля, смелое и дерзкое пятно.

Из Ленинграда Дорохов вывез много десятков рисунков и этюдов. Как всегда, много портретов, ярких, характерных, уверенных. Как всегда, много карандашных эскизов, этюдов, сделанных маслом, метко схватывающих жизнь на лету (чудесная деталь, например: «Последние известия»; прохожие у старой афишной тумбы, на которой вывешивается последняя военная сводка).

Весь этот огромный творческий багаж, вне всякого сомнения, еще скажется в жизни и работе художника. Иные торопливые зрители упрекают Дорохова: а где же картины, товарищ художник? Где батальные сцены? Почему не видно кораблей, смело идущих в атаку? Почему не видно, как тонут вражеские суда? Этим нетерпеливым зрителям хочется сказать: не забывайте, друзья, что не все художники одинаковы: один владеет искусством изображать битву на море, другого влечет задача воспроизведения не внешнего, а внутреннего движения души.

Дорохов идет вторым путем. Вероятно, это путь наибольшего сопротивления, путь наиболее трудный. Художника ждет на этом пути еще не мало терниев и шипов. Пусть он работает и творит по-своему, как подсказывает его творческая совесть.

Придет время, и мы увидим — наверняка увидим! — настоящие картины К. Дорохова — синтез всего, что узнал он и прочувствовал на войне».

«Комсомольская правда», 2 июня 1943 г.

Выставка вдохновила меня, позволила посмотреть на себя со стороны.

«Малая земля», освобождение Новороссийска и Севастополя

И вот я снова еду на Черноморский флот.

Как бы ни были сложны условия, всеми силами постараюсь запечатлеть облик дорогих моей Родине героев, корабли, несущие бессменную вахту и жестоко бьющие врага, отдельные эпизоды — волнующие истории боевых будней Черноморского флота.

Вылетел из Москвы 27 июня 1943 года. Через три часа был уже в Молотове (Пермь), где и ночевал.

Очень красивый город с красивой рекой Камой, на которой кипит жизнь: масса транспортно-грузовых судов, пароходов и никакого затемнения, вся река и город в огоньках.

Посетил выставку ленинградских художников. Вечером побывал на одном действии балета «Тщетная предосторожность» с участием Т. Вечесловой. Оказывается, Ленинградский театр оперы и балета эвакуирован в Молотов.

Утром вылетели. Опять были посадки: близ Куйбышева, Ершово, Сталинград, Зимовянка и, наконец, Майкоп.

Сталинград очень сильно побит. Особенно это видно с воздуха; воронка на воронке и сплошные руины вместо зданий. Но в городе уже наводится порядок, все трофеи свезены в одно место.

После Майкопа перевалили через горы, вскоре пошли на Сочи, и вот я снова на основной своей базе. Приятная встреча с друзьями.

Работаю на базах: Батуми, Поти, Туапсе, Геленджик. Хожу на кораблях и катерах.

Пребывание в Геленджике воскрешает во мне воспоминания о студенческих годах во Вхутемасе. В то время Геленджик для нас был местом, где мы могли отдыхать и работать.

Война снова забросила меня в эти места, исхоженные в студенческие годы. Теперь они неузнаваемы. С одной стороны аэродром, с другой — прославленный артдивизион М. Матушенко, того самого, который под Севастополем командовал 10-й батареей, сдерживающей немцев в первые дни обороны Севастополя. Батареи М. Челака, А. Зубкова, И. Белохвостова ведут почти непрерывную дуэль с немцами, занимающими Новороссийск. На батареях все изрыто снарядами. Мелкие сосны, характерные для Северного Кавказа, почти все с отстрелянными верхушками.

Я снова на «Тонком мысу». По-прежнему красива «Голубая бухта» — свидетельница наших студенческих проказ, нашей чудесной юности. Как будто ничто не говорит о войне, если не считать рокочущего грома, доносящегося со стороны Новороссийска, где идут непрерывные бои, да барражирующих самолетов.

На береговом склоне прочно врыт в землю потерявший в боях гусеницы быстроходный танк. Его быстроходность теперь не нужна. Он стоит стражем у бухты на случай попытки врага высадить десант. Его огневая мощь всегда готова к бою.

Места, где были наши волейбольные площадки, — как они изменились. Кругом воронки, ямы, все изрыто, перекопано войной.

Работаю в Гвардейском дивизионе Матушенко — на батареях Челака и Зубкова. Делаю рисунки и этюды маслом.

Новороссийск в руках немцев. Только маленький кусочек земли, где в феврале этого года был высажен десант, — в наших руках.

Бухта Геленджика полна мелких судов, которые под охраной сторожевых катеров ходят в тыл врага.

У причала оживление, какого здесь в мирное время никогда не было. Разгружаются суда с продовольствием и боеприпасами для «Малой земли».

Это название имеет свою историю. «Малой землей» севастопольцы в период осады называли свой город, ведущий ожесточенную борьбу с врагом, подчеркивая тем самым свою неотъемлемость от всей Советской земли.

«Малой землей» именуют свой участок фронта ленинградцы.

В феврале 1943 года моряки-черноморцы высадили десант на Мысхако. Так возник кусочек Советской земли в тылу врага, упиравшийся с одной стороны в Мысхако, а с другой — влившийся в предместье Новороссийска и получивший также название «Малая земля».

Много попыток делали немцы, чтобы оттеснить, сбросить моряков в море. Дорого стоили им эти попытки. «Малая земля» вынесла все удары, выстояла и сыграла свою огромную роль при взятии Новороссийска.

Улицы Нагорная, Песчаная, Нахимовская — это «Станичка», здесь каждый шаг полит кровью, каждая пядь просмотрена и простреляна.

Есть места, где не верится, что здесь были цветущие сады, росла трава. Сохранились лишь кое-где обрубленные стволы с торчащими в разные стороны сухими, поломанными ветками. Суровый безрадостный пейзаж.

Получив задание в Политуправлении, вместе с Л. Сойфертисом и писателем А. Роммом едем на мотоботе, с очередным пополнением десанта, на «Малую землю».

Над бухтой нависли густые сумерки. Легкий ветерок. Первыми выходят быстроходные торпедные катера и сразу уходят. Им предстоит нелегкая задача — защищать со стороны моря флот, идущий с бойцами и боеприпасами на «Малую землю».

Флот — это звучит несколько громко и не определяет существа. Более точно — шутливо-ласковое наименование «тюлькин флот». В составе судов, идущих на «Малую землю», большое количество рыбачьих судов, которые с первых дней войны вооружены и вместо ловли кефали и тюльки выполняют ответственные боевые задачи.

Идем в полной темноте. Свинцово-синее море, легкая волна. Позади остались Геленджик, Кабардинка, вдали мигает маяк.

Тишина нарушается перестуками моторов — это идут труженики сейнеры, мотоботы. Слева отчетливо вырисовывается Мысхако...

Воздух разрывает сухой удар, сопровождающийся короткими резкими трассами. В небе повисли осветительные ракеты. За одним ударом следует другой.

Противник ставит заградительный огонь.

Резко поворачиваем вправо и на полном ходу идем на стоящий стеной берег. В воздухе рвется шрапнель, падают осколки, подымая вокруг нас небольшие фонтанчики.

С ходу врезаемся в берег, быстро разгружаемся. Мотобот поспешно уходит, прорываясь через завесу заградительного огня. И лишь далеко в море стоит огненный столб, то горит вражеский катер, пытавшийся атаковать наши суда.

«Малая земля»—это левый фланг всего фронта, а ее передний край — улицы Ворошиловская и Азовская.

Всего 18 метров отделяют нас от врага. В редкие минуты затишья слышны шум и говор во вражеском окопе. Только в темноте можно проползти на этот участок.

Амбразура закрыта каменной плитой. Отодвигаем камень в сторону. На другой стороне клуб (переоборудованный из церкви), школа, там сидят немцы. Не успеваем задвинуть плиту, короткая очередь. Шорох выдал нас.

Сегодня наши будут бить по школе прямой наводкой.

В воздухе повисла осветительная ракета, выстрел, снова ракета, опять выстрел, и так несколько залпов, тишина — короткая пауза, и пушка бьет с другого места. Эта наша кочующая пушка.

Интересная деталь: среди бойцов есть товарищи, не так давно сидевшие за партой в этой школе.

Делаем по заданию Политуправления листовки, которые бойцы забрасывают к немцам, рисуем места боев. В перерывах, насколько это возможно, развлекаем бойцов.

На «Малой земле» уже сложился прочный, отстоявшийся быт — бани, зона отдыха — все это в ста метрах от неприятеля.

Уцелевший посев озимой пшеницы вырос и дал урожай. Созревшее зерно оказалось в нашей зоне. Малоземельцы сняли урожай, обмолотили и на самодельных мельницах мелят зерно.

Прекрасную серию малоземельских бытовых рисунков сделал Л. Сойфертис: коза на передовой линии, ослики, перевозящие боеприпасы, бойцы, мелющие зерно, и другие.

В окопах, где тянулись телефонные провода, где все свободное место занято сложенными снарядами, была устроена выставка для бойцов «Малой земли».

Небо раскололось от ударов, цепи трасс опоясали его в разных направлениях. В воздух взлетели разноцветными огнями ракеты. Это салютует эскадра. Новороссийск освобожден.

Шесть дней назад в пасть к врагу высадились моряки —

прославленные «Куниковцы». Все те же мелкие суда, катера, мотоботы высадили бойцов-десантников.

Шесть дней у здания управления порта, в клубе, оборонялась горсточка храбрецов, героизм которых явился ключом к замку, запиравшему Новороссийск.

Вместе с передовыми частями вхожу в Новороссийск со стороны цементных заводов.

Помещение клуба. Там, где были ряды кресел,— воронки и ямы, в них лежат в страшных позах сожженные бойцы — герои, товарищи. Ненависть и жажду мести вызывает все увиденное.

Управление порта. На нем гордо реет морской флаг — это здание одним из первых штурмом взяли моряки.

Незабываемая картина для художника — облачное серое небо, высятся израненные громады зданий, подбитые немецкие танки, в последней схватке сплелись наш боец и фашист.

Нет ничего тягостнее вида асфальта, поросшего бурьяном.

Ровно год находился Новороссийск в руках врага.

Набережная. Воронки от снарядов, мин, разрушенные дома. Всюду фашистские трупы.

Братская могила. Моряки хоронят павших в боях за Новороссийск. Без торжественной музыки, без пышных речей предают они земле своих товарищей. Короткое слово командира, залп, и невысокий могильный холмик укрыл павших героев.

Когда отгремят военные грозы, на этой братской могиле будет сооружен памятник... Можно с уверенностью сказать, что нет благороднее задачи, чем увековечение подвигов героев.

А тот, кто будет делать памятник на могиле героев освобождения Новороссийска, будет особенно в благодатных условиях: высокое место, вдали горы, видна Новороссийская бухта. Великолепный фон для памятника.

Еще не успели отгрохотать орудийные залпы, еще не убраны все фашистские трупы, а в город с котомками, неся на руках и за плечами детей, идут со стороны Анапы жители, отыскивая свои пепелища. Это те, кто уцелел от фашистов. Неприветливо их встречает город. Обломки зданий, надписи — «мины», «минировано» — преграждают дорогу на каждом шагу.

Проходит несколько дней. Жизнь понемногу налаживается. Горсовет празднично украшен плакатами Кукрыниксов, Н. Долгорукова. Райком комсомола. На доске объявления: «Нужна рабочая сила» цементному заводу, управлению порта...

Фронт отодвинулся далеко за город. Взяты Анапа, Темрюк. Возводится трибуна для митинга, посвященного освобождению города. Художникам предстоит благородная задача — пройти вторично по местам, политым кровью и слезами народа.

В этот период пребывания на Черноморском флоте делаю более ста рисунков карандашом и около тридцати пяти работ маслом.

Часть работ этого периода — Геленджик, «Малая земля», Новороссийск — выставлялась в Москве на выставке «Фронт и тыл» в декабре 1943 года.

В мае 1944 года, когда войска Четвертого украинского фронта вышли к берегам Черного моря, я опять вместе с Л. Сойфертисом в оперативной группе редакции «Красный Черноморец», с первыми частями, штурмовавшими город, вошел в Севастополь.

Тишина, мертвая тишина, думалось мне, встретит нас, когда мы войдем в освобожденный город. Но оказалось совсем не так. Уже у деревни Байдары обрушилась на нас сильная канонада. Отступающий враг огрызается, бессильный изменить свою судьбу.

Промелькнула еще одна сопка, изрытая снарядами, и перед нашими глазами, укрытый дымами пожарищ, встает Севастополь.

Въезжаем в город с Корабельной стороны. Множество войск, пыль, зной, шум, гам, дым... Земля вдоль дороги изрыта воронками, наполненными трупами вражеских солдат. Множество убитых лошадей. Это немцы, уходя, перестреляли всех лошадей, чтобы они не достались нам. Только один жеребенок, оставшийся в живых, в тревоге бегает вокруг лошадиных трупов.

Противника в городе нет, хотя он еще не сдался. Со стороны Херсонеса бьет его артиллерия.

Ведут группу предателей, не успевших скрыться под сильным натиском наших наступающих частей.

Одиночные жители поят запыленных и томимых жаждой наших бойцов.

Южная бухта. Затопленный кран. Следы погибших кораблей, и опять трупы немецких захватчиков.

Возвращающиеся жители встречают освободителей восторженно. Исхудавшая, изнуренная женщина обнимает бойца-краснофлотца. Ее сын тоже моряк. Где он? Женщина пытливо перебегает глазами с одного лица на другое в надежде найти своего сына.

Улица Ленина, иссеченная бомбами и снарядами. Целых домов нет. Буйная зелень густо поросла на гребнях развалин. Стены-руины сплошь оклеены омерзительными фашистскими плакатами.

Через весь город, томясь от зноя, идут вереницей пехота, артиллерия, грузовики, подводы. Это для последнего удара по врагу накапливаются свежие силы наших войск.

Танки, одновременно маскируясь и давая проход идущим войскам, занимают рубежи прямо на тротуарах. Правда, тротуары здесь уже давно перестали быть таковыми. Засыпанные

обломками рухнувших зданий и поросшие бурьяном, они давно не служат пешеходам. Все движется, идет прямо по проезжей части.

Неутомимые минеры кропотливо исследуют каждый дом, каждый кусочек земли.

Памятника В. И. Ленину нет. Остался один постамент.

Отряд моряков, заняв площадь у памятника Ленину, поднял на флагштоке, как символ победы, вместо флага бескозырку и полосатую тельняшку.

Обстрелянная десантная баржа, танкер и ряд других судов черными громадами закрывают вход в Казачью бухту. Это наша артиллерия и авиация не дают уйти из бухты вражеским кораблям.

В воздухе повисла ракета — одна, другая, треск пулеметов, гул орудий. Небо расцвечено огнями — это салют победы. Первый день в освобожденном Севастополе. Радостно, ярко блестят глаза героев.

И лишь на Херсонесском мысу обреченный враг, в отчаянии цепляясь за последние кусочки крымской земли, сопротивляется.

Я был свидетелем ликвидации последней в Крыму группировки немецкой армии у Херсонесского маяка. Все, что я увидел на этот раз, было настолько сильно, что я сразу не мог рисовать.

Весь Херсонесский мыс представлял собой кладбище вражеской техники, усеянное трупами гитлеровских солдат. Враг метался, стараясь всеми возможными средствами уйти в море. Но наступательная огневая мощь нашей армии была столь велика и с воздуха и с суши, что врагу невозможно было уйти от возмездия.

События и впечатления обрушились на меня такою глыбой, что некоторое время я не мог охватить всего происходящего.

Мне «посчастливилось» — я видел начало осады Севастополя и теперь участвую при его освобождении.

Спешу рисовать. Все важно, все нужно запечатлеть, запомнить, рассказать.

Дунайская флотилия

В октябре 1944 года я был послан на Дунайскую флотилию. Мне предстояло в составе агитбригады под начальством В. Городинского выпускать листовки и плакаты.

Навыка в работе с линолеумом у меня не было. Срочно стараюсь овладеть новой техникой, консультируюсь с мастерами. Пробы придется делать уже в условиях похода.

На катерах Дунайской флотилии и по суше я проделал путь от Одессы через Измаил и Бухарест до Белграда.

20 октября 1944 года после упорных боев части Советской Армии совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии освободили от гитлеровской оккупации город Белград. Важную роль в боях за освобождение югославской столицы выполняли бронекатера Дунайской флотилии.

Белград ликует. Проходят демонстрации. Всюду устраиваются митинги. Отношение к советским воинам исключительное — полно восторгов и необыкновенной доброжелательности. Такое трудно высказать словами. Город сильно разрушен гитлеровцами.

Очень жаль, что в Белграде пришлось пробыть недолго. Многого не успел увидеть. Музеи были закрыты. Но зато я видел изумительные вещи югославского скульптора И. Мештровича. Его искусство произвело на меня большое впечатление.

С пребыванием в Югославии связано много впечатляющих событий. Одно из них — мы были в гостях у югославских партизан в городе Великая Кикинда, где я рисовал боевых югославских товарищей. Позже нас принял товарищ Тито.

Вместе с представителем нашей миссии мы подъехали к Королевскому дворцу. Нас встретили партизаны и провели в зал, где должен был начаться концерт наших артистов. Богатые интерьеры дворца и среди них — партизаны в обмотках, с гранатами.

Вскоре вышел Тито в сопровождении министров и общественных деятелей. Во время концерта я рисовал Тито, хотя и не очень выгодно для этого сидел.

После концерта нас пригласили на банкет. Первый тост был произнесен за Красный Флот. Тито отлично говорит по-русски. Рассказывал нам о времени, проведенном в качестве военнопленного в России, много шутил.

Мы преподнесли ему совместную листовку-плакат с текстом и нотами песни «Воинам Тито» — слова поэта С. Болотина, музыка К. Листова, рисунок мой.

Я собрал большой материал по Югославии. Рисовал облик городов, портреты партизан, городские сценки...

Преодолевая перевал через Трансильванские Альпы, мы попали в пургу и метель. Машина отказалась идти. Наступила ночь, дороги замело. Все наши пассажиры пошли пешком в ближайшую деревню, а я вызвался провести ночь у машины. Это было не безопасно и довольно трудно, но в целом эта ночь осталась ярким воспоминанием.

А утром я был вознагражден за трудную ночь видом изумительного восхода солнца. Мороз, почти как у нас, и медленно бредущие волы, которые и выволокли нашу машину.

События на фронтах развивались бурно. Начались ожесточенные бои на подступах к Будапешту.

В Будапешт я вошел с бронекатерами Дунайской флотилии. Стараюсь запечатлеть все, что может уйти бесследно.

Еще задолго до войны я хорошо знал интересных художников-венгров Белу Уица и Шандора Эка. Бела Уиц был моим профессором во Вхутемасе. Оба посвятили свое творчество освободительному движению своего народа. По рассказам этих товарищей я уже имел представление о Венгрии, о Будапеште.

Наши мониторы прошли Чепель, освобожден Пешт. Фашисты, осевшие в Буде, упорно сопротивляются.

Наконец, после ожесточенного и длительного штурма 13 февраля 1945 года Будапешт целиком взят нашими войсками.

День победы. Город выглядит сурово: все мосты взорваны, руины, завалы.

С карандашом в руках брожу близ парламента.

Перебираюсь в Буду. В Буде большие разрушения. Разрушен дворец — последнее пристанище озверелого врага. Руины на каждом шагу. Это следы от обстрела и действий американской авиации. Но, несмотря на большие разрушения, Будапешт — прекрасен.

Стоит ранняя весна. Город возвращается к мирной жизни. Открываются магазины, кинотеатры, пошел трамвай. Наведен временный мост близ острова Маргит — он соединил Пешт и Буду.

Дунай, величавый голубой Дунай выглядит спокойным и мирным. Лишь затонувшие подбитые вражеские суда близ парламента говорят о недавних боях.

На улицах много народа. Стены домов украшены яркими плакатами, которые выразительно призывают к восстановлению города, к борьбе со спекуляцией, дороговизной.

Прошло 15 лет после войны. Я снова в Будапеште. На этот раз уже как турист.

Город неузнаваемо преобразился: восстановлены фабрики, заводы, строится новое жилье, мосты почти все восстановлены и снова соединяют Пешт и Буду в одно целое. Разрушений военных лет почти не видно.

А на горе Геллерт высится памятник Освобождения, установленный в память о Советских воинах, выполненный замечательным венгерским скульптором Кишфалуди-Штроблем.

В период моего пребывания на Дунайской флотилии, в боевой обстановке я рисовал и выпускал листовки, печатаемые с линолеума.

Плакаты и листовки принимались восторженно. Это, конечно, приносило удовлетворение. Печатать их приходилось в освобожденных городах, где были остановки. Местные типографские рабочие всегда принимались за работу с энтузиазмом, выполняя ее исключительно дисциплинированно и в срок.

Песни, напечатанные на моих листовках на слова поэта С. Болотина и музыку К. Листова, исполнялись на концертах артистами наших фронтовых бригад.

Глубокое впечатление оставили встречи с героями Дунай-



48

К. Г. ДОРОХОВ — ВОЖАТЫЙ ПИОНЕРСКОГО ОТРЯДА № 19 СОКОЛЬНИЧЕСКОГО Р-НА МОСКВЫ НА ПАРАДЕ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В ГОДОВЩИНУ ПРИСВОЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА. 1925



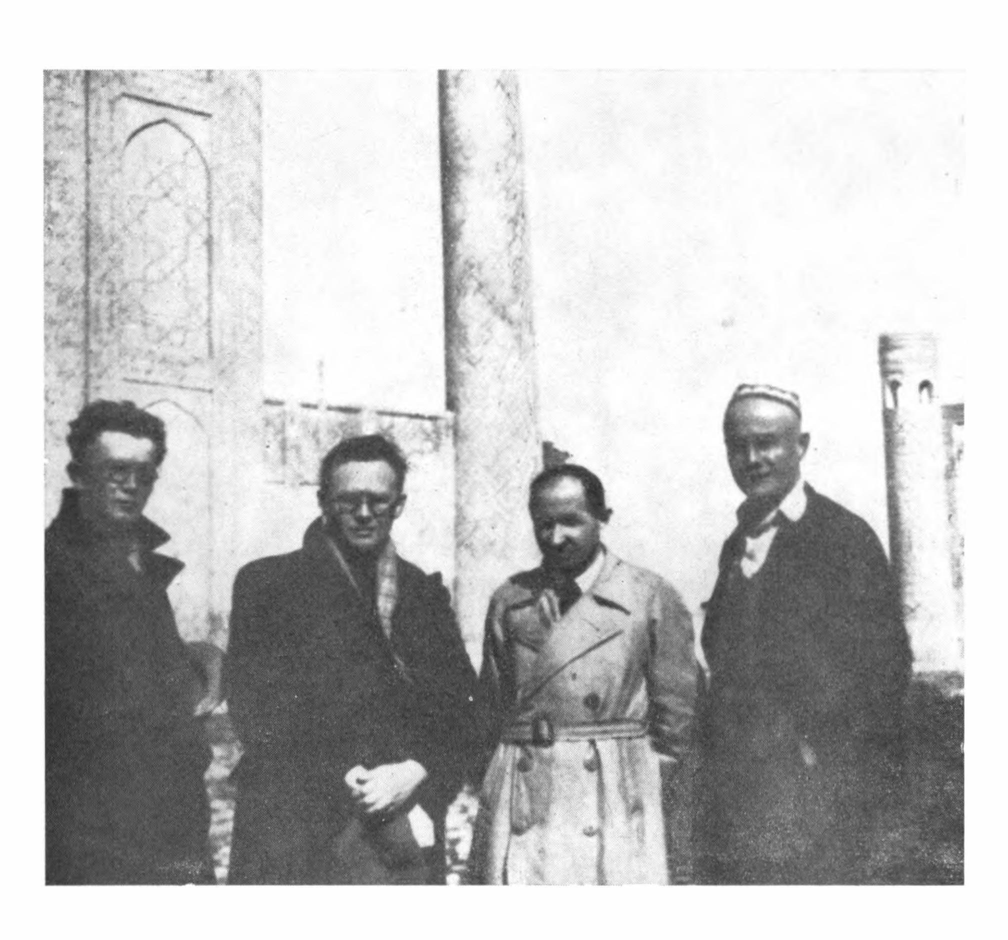
49
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК ВХУТЕИНА. 1930. К. Г. ДОРОХОВ — ТРЕТИЙ СПРАВА
В НИЖНЕМ РЯДУ



50

ДОНБАСС. ДОНЕЦК. 1935

СЛЕВА НАПРАВО: ХУДОЖНИКИ А. Н. ПАРАМОНОВ, М. В. МАТОРИН, П. Н. ПАВЛОВ, Н. А. ШЕВЕРДЯЕВ, К. Г. ДОРОХОВ, В. П. СОКОЛОВ



51
К. Г. ДОРОХОВ И П. Н. КРЫЛОВ В САМАРКАНДЕ. 1940



52

Л. В. СОЙФЕРТИС И К. Г. ДОРОХОВ В СЕВАСТОПОЛЕ. 1941

Кругом шестнадцать



Куда затравленному деться?
Чтоб встретить фронт лицом к лицу,
Теперь Адольфу — подлецу
Волчком приходится вертеться.

Шестнадцать стран изранил он,
Он с целым миром шел сражаться,
А нынче — фронт со всех сторон,
И тыла нет. Кругом шестнадцать!

Выпуск № 1 агитбригады Главного ПУ ВМФ на Дунайской флотилии Рис. К. Дорохова, текст С. Болотина

53

ИЗ СЕРИИ ЛИСТОВОК АГИТБРИГАДЫ ГЛАВПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА НА ДУНАЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ. ЛИСТОВКА «КРУГОМ ШЕСТНАДЦАТЬ». ХУДОЖНИК К. ДОРОХОВ, ТЕКСТ С. БОЛОТИНА. 1943



54
«МАЛАЯ ЗЕМЛЯ». (В ТЫЛУ У НЕМЦЕВ). 1943
В НИЖНЕМ РЯДУ СИДЯТ СЛЕВА НАПРАВО: А. И. РОММ, Л. В. СОЙФЕРТИС,
А. С. ПОТАПОВ — КОМБРИГ 255-Й БРИГАДЫ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ И К. Г. ДОРОХОВ



55
К. Г. ДОРОХОВ В МАСТЕРСКОЙ. 1946

ской флотилии — героями наших листовок — капитаном III ранга Бартевым, капитаном Журухиным и Катей Михайловой.

Екатерина Илларионовна Михайлова (сейчас — Е. И. Демина) — краснофлотец Дунайской флотилии. Она участница и героиня всех десантов флотилии. Михайлова из автомата и из снайперской винтовки уничтожила более 50 гитлеровских солдат и офицеров. Правительство пять раз награждало Катю Михайлову орденами и медалями.

И бесстрашная героиня Катя Михайлова и оба капитана остались у меня на фотографии среди товарищей нашей агитационной бригады.

За это время проехал совершенно очаровательные города Румынии, Венгрии, Югославии. Население, питающее к нашим воинам и нашему народу горячую симпатию, всячески проявляет свое доброжелательное отношение. Русские песни пользуются большим успехом. Особенно популярна советская песня про Катюшу.

Я не представлял себе, что такие маленькие городки могут быть так красивы. Правда, война и здесь сделала свое дело, хотя в Румынии это не столь заметно.

Особенно запомнился мне город Нови-Сад. Это — Сербия.

Замечательный город. Наши союзники его довольно сильно разбили, но все же в центре улицы целы.

Январь месяц. Здесь не холоднее, чем у нас в октябре. Снега нет. Дунай до сих пор не замерзает, хотя по нему плавает что-то похожее на лед.

Остановился в хорошей гостинице «Кралица Мария» на площади Ослобождене.

Торговли в городе почти никакой нет, большинство магазинов закрыто, так как их владельцы либо бежали, либо арестованы. По городу дежурит партизанский патруль.

Жители здесь необычайно гостеприимны. С удовольствием рисую новый для меня облик городов.

В апреле 1945 года я был отозван в Москву, а в мае того же года — я снова на Дунайской флотилии. На этот раз предстояло вторично пройти по следам боевых действий Дунайской флотилии и запечатлеть места, связанные с наиболее значительными событиями.

В этот период был в Констанце, Бухаресте, Будапеште, Вене и Праге.

Подходим к Констанце. Уже виден город: элеватор, казино, краны. Справа разгружается американский транспорт под звездным флагом. Слева — позади остался корабль «Либерти», подорвавшийся на минах. Американцы бросили его. Наши заделали пробоину и отшвартовали в порт.

Проверка документов. Спускаемся на берег.

Сегодня суббота, опоздали на поезд в Бухарест, придется ждать до понедельника.

Интересно наблюдать воскресные улицы. Пестрая, далекая от войны нарядная толпа, колоритные типы мелких хозяйчиков и капиталистов, модная одежда всех цветов и фасонов. Город абсолютно цел. Масса зелени, мало пыли и нет изнуряющего зноя.

Пытался написать трудный мотив с портом, писал этюд берега. На берегу румынские прогулочные лодки, напоминающие пироги.

Наконец, мы в поезде на Бухарест. Сейчас стоит самая чудесная пора. Цветет акация, жасмин, все напоено их ароматом.

Проехали Черноводы и знаменитый Черноводский мост, разбомбленный в 1941 году.

И вот снова Бухарест. Разрушенные пути.

Военная комендатура помещается в доме короля. Дом до мельчайших вещей сохранен в целости.

Но в Бухаресте мы задержались недолго. По распоряжению генерал-лейтенанта П. Толстикова вместе с художником И. Струнниковым летим на Дугласе в Вену.

За пять часов пролетели Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, — и вот мы на аэродроме близ Вены в 40—50 километрах от нее. На попутной машине доехали до города.

Вена по красоте превосходит все ожидания, но, к сожалению, сильно побита и жизнь в ней только начала налаживаться. Транспорт не работает, приходится делать огромные концы пешком. Стоит изнуряющая жара.

Идем на вокзал «Франца Иосифа» получить сухой паек на три дня. Бесконечная, утомительная дорога. На пути попадаются мужчины, старики, юноши в замшевых шортах, в пиджаках с зелеными лацканами, в тирольских шапочках, украшенных красивыми значками и медалями. Женщины и девочки— в белых передниках, в своеобразных сарафанах и кофтах с пышными рукавами, поверх которых одеты безрукавки.

Рисую места, связанные с ходом боев Дунайской флотилии.

Рейхсбрюке—Имперский мост. Это центр города.

11 апреля 1945 года, в разгар уличных боев в Вене, моряки-дунайцы ворвались по реке в город и высадили гвардейский батальон у моста на оба берега.

Нужно было прекратить движение немцев через мост: по нему подвозились к врагу беспрерывно пополнения и боеприпасы. Необходимо было также сберечь мост.

Решено было высаживать десант днем.

Утром 11 апреля на огневую позицию вышли минометные катера, а по берегу двинулись самоходные орудия берегового отряда. Быстро приближался Имперский мост. Ясно стали видны немецкие танки и броневики.

Приказ: «Мост сберечь. По мосту снарядами не стрелять!».

Под мостом высадиться было невозможно — там затонувшие баржи. Решено высадиться за сто метров до моста.

Десантники высадились без потерь. На левом берегу, на пустыре, они зарылись в окопы, на правом — укрепились в одном из разрушенных домов.

Отбиты все атаки врага, в том числе и танковые, выстояли на обеих берегах Дуная. Десантники перерезали подведенные к мосту электропровода и не позволили гитлеровцам взорвать мост.

Через полтора дня на помощь подошли гвардейские части, и 13 апреля, преследуя отступающего противника, уже помчались по Имперскому мосту наши танки, артиллерия и мотопехота.

Пишу мост на канале.

Познакомился с австрийским художником. Он писал недалеко от нас, вооруженный колоссальным этюдником, мольбертом, стулом и сопровождаемый слугою.

Смотрел написанные им отличные виды Будапешта.

Вечером писал кирху.

Очень устал, работается с трудом. Отсутствие транспорта, питание всухомятку, жара — все это, вероятно, оказывает свое влияние.

Город постепенно оживает. Все больше открывается уличных кафе, кинотеатров, концертных залов.

Рисую и пишу. Стараюсь выходить работать ранним утром. Утро все-таки самая хорошая пора.

Пошел на выставку австрийских художников. Есть пейзажи, сделанные под Ленинградом и близ Курска в период оккупации. Живопись мне не понравилась.

Выехали из Вены в Прагу. Сначала на машине добрались до моста через Дунай. Затем пешком — до железнодорожной станции, и вот случайный паровоз везет нас в сторону чехословацкой границы. Вечером пересели на открытую платформу с углем, вернее, с угольной пылью. После поездки на паровозе, где жара и грязь, поездка на угольной пыли, под открытым небом показалась нам раем. Платформы с углем полны бесплатных пассажиров-австрийцев, едущих с нами в одном направлении. После небольшого импровизированного ужина ложимся спать на угле, подстелив под себя ветки и траву.

Проснулись рано утром уже в Чехословакии. Переезд через границу не заметили. Платформы пустые, мы остались одни.

Первые чехи, встреченные нами,— это кондуктор и проводник — чехословацкая бригада, сменившая ночью бригаду австрийцев.

Наконец доезжаем до небольшого города Табор. Дальше эшелон не идет. На попутной машине добираемся до Праги.

В главной комендатуре — она помещается возле Карлова моста — получаем направление в гостиницу, устраиваемся.

А утром сразу же идем в Академию художеств. Знакомимся с работами многих чешских художников.

В этом деле, как и в знакомстве с городом, нам очень помогла художница Ольга Баракова, которая все дни нашего пребывания в Праге была нашим гидом.

В городе, завтракая в таверне, встретился с В. Богаткиным, и снова началась экскурсия по городу.

Прага — изумительное творение человеческого гения.

Много впечатлений, встреч, воспоминаний.

Эта вторичная поездка по следам боев Дунайской флотилии явилась завершающей в моей деятельности художника-фронтовика. Позади остались четыре суровых военных года, полных необычайных, трагических и героических событий, впечатлений и переживаний. Но самыми памятными днями для меня навсегда останутся дни, проведенные в Севастополе — городе, с которым связаны мои первые военные впечатления. В Севастополе я усвоил тот метод работы, который помогал мне, как военному художнику, на Краснознаменном Балтийском флоте, и на Краснознаменной Дунайской флотилии.

31 декабря 1945 года, в последний день последнего военного года, меня демобилизовали, и я возвратился в Москву.

Все, что я видел, зарисовал, все материалы, накопленные мною в военные годы, послужат теперь для меня началом повествования о Великой Отечественной войне.

ПРИЛОЖЕНИЯ

К. Г. Дорохов
(биографическая справка)

Константин Гаврилович Дорохов родился в 1906 году в Смоленске в семье служащего.

Первые шаги в изобразительном искусстве были сделаны в изостудии Пролеткульта. На конкурсе плакатов для смоленских Окон РОСТА получил две первые премии.

Дорохов с юного возраста активно участвует в общественной жизни. Он — комсомолец. Один из первых комсомольских вожаков в Смоленске.

В 1923 году Дорохов командируется в Москву для поступления во Вхутемас. Сначала учится на полиграфическом факультете, с четвертого курса — на живописном, в мастерской А. В. Шевченко, затем — Д. П. Штеренберга. В период учебы во Вхутемасе работает вожатым двух пионерских отрядов при Управлении Московско-Казанской железной дороги (был одним из лучших пионервожатых района), в обществе «Друг детей» активно участвует в борьбе с беспризорностью, работает в стенгазете института.

Окончил Вхутеин в 1930 году, представив в качестве диплома картину «Судомойки». В 1931 году был призван в ряды Красной Армии. Служил в Пролетарской дивизии.

Самостоятельная творческая деятельность Дорохова началась в 1932 году.

В 1933 году впервые участвует на выставке и с этих пор становится активным участником всех больших выставок художников СССР.

Многочисленные поездки по стране, жаждущая знаний советская молодежь, великолепная природа родины послужили вдохновенным источником для творческой деятельности Дорохова. Появились такие его работы, как пейзажи Донбасса и Подмосковья, «Мальчик с бумажной моделью», «Мальчик с коньками», «Вузовка», «Парашютистка», картины «Перед прыжком», «Ненецкая девушка с книгой», «Портрет балерины», портрет писателя Леонова, «Девушка в дверях», «Шура Тян» и другие.

С первых дней войны Дорохов призван в действующий Черноморский флот в качестве художника при Главном политическом управлении Военно-Морского Флота. Работал в осажденном Севастополе и осажденном Ленинграде, на кораблях, в отрядах морской пехоты, на батареях, участвовал в отдельных десантных операциях, был при прорыве блокады Ленинграда, при освобождении Новороссийска, Севастополя, в агитбригаде Дунайской флотилии. Работал в составе оперативной группы газеты «Красный Черноморец», был специальным корреспондентом газеты «Комсомольская правда».

В 1942 году Дорохов активный участник выставки «Великая Отечественная война». За участие в этой выставке был отмечен дипломом второй степени. В 1943 году его работы показывались на выставках дважды: в мае—на персональной выставке «Художник-фронтовик Дорохов» и в декабре — на выставке «Фронт и тыл».

31 декабря 1945 года Дорохов был демобилизован. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленную при этом доблесть и мужество был награжден боевым орденом «Красная Звезда» и пятью медалями.

В первые послевоенные годы художник продолжает работать над полотнами, подготовительный материал для которых был накоплен еще в годы войны. Кроме того, пишет натюрморты, жанровые сцены. Дорохов стремится обогатить живописную технику. Его картины «С работы», «За ваше здоровье», «Подруги»,

«Любопытные», «Золотые шары», его серия натюрмортов с овощами, с самоваром проникнуты здоровым оптимизмом, влюбленностью в жизнь.

Однако появление несправедливых нападок ряда критиков, обвинение в формализме на некоторое время выбили художника из творческой колеи. На смену упомянутым выше полотнам пришли суховатые, более надуманные работы: «Председательница колхоза», «Трудная задача», «Черноморская рыбачка», «Выпускницы» и другие.

В этот же период Дорохов пишет много пейзажей Москвы и Подмосковья, тщательно их прорабатывая. Среди наиболее удачных работ этого жанра можно назвать «Золотой закат», «Западный порт», «Зимнее утро», «Последний снег», «Деревня Мазилово».

В 1954 году Дорохов выезжает с агитбригадой в колхозы и на шахты в качестве художника-агитатора, участвует в колхозных «Окнах сатиры», читает шахтерам лекции об изобразительном искусстве. Именно тогда родилась тема картины «Передвижная выставка в шахтерском поселке». Художник вновь возвратился к своим колористическим исканиям. Его вещи этого периода: «Колхозный сторож», «Шахтеры», «Передвижная выставка в шахтерском поселке», «Сентябрь», «Фестивальный наряд» — говорят о новом творческом подъеме художника.

Попутно с творческой работой Дорохов вел большую общественную работу: в течение ряда лет — член правления Московского Союза художников, член редколлегии газеты «Московский художник», участник художественных советов, руководитель сатирического коллектива московских художников.

Дорохов скончался 9 ноября 1960 года в расцвете творческих сил, на 54-м году жизни.

С 1932 по 1960 год Дорохов — участник более чем пятидесяти больших художественных выставок, показав на них около двухсот работ. Кроме того, было осуществлено три персонально-групповых выставки, на которых были представлены 365 живописных работ и 120 рисунков.

Работы Дорохова находятся в сорока музеях страны.

Участие К. Г. Дорохова на выставках

1932

Выставка «Пищепром». Москва.

1933

Художественная выставка «15 лет РККА». Москва.

1934

Выставка начинающих молодых художников г. Москвы. Москва.

1935

Весенняя выставка московских живописцев. Москва.

Осенняя выставка московских живописцев. Москва.

1936

Выставка молодых художников к конференции ВЛКСМ Дзержинского района. Москва.

Выставка-смотр произведений молодых художников. Москва.

1937

Пятая выставка московских живописцев. Москва.

1938

Художественная выставка «XX лет РККА и Военно-Морского Флота». Москва.

Выставка работ К. Г. Дорохова и Д. И. Рубинштейна. Москва.

Выставка работ группы молодых художников членов Московского областного Союза советских художников. Москва.

1939

Выставка живописи и графики. Москва.

Всесоюзная выставка молодых художников, посвященная двадцатилетию ВЛКСМ. Москва.

Всесоюзная художественная выставка «Индустрия социализма». Москва.

Выставка «Пищевая индустрия». Москва.

Выставка «Сталин и люди советской страны в изобразительном искусстве». Москва.

Выставка работ художников-контрактантов Московского товарищества художников. Москва.

1940

Седьмая выставка Союза московских художников. Москва.

Советское изобразительное искусство. Передвижная выставка в Западных областях БССР. Белосток.

Выставка живописи, скульптуры и графики. Смоленск.

Передвижная выставка произведений московских и ленинградских художников по городам Поволжья: Горький, Казань, Куйбышев, Саратов, Волгоград (Сталинград), Астрахань.

Выставка московских живописцев и графиков. Калинин.

1941

Выставка, посвященная шестидесятилетию со дня рождения К. Е. Ворошилова.

Молодые художники РСФСР. Москва.

1942

Всесоюзная выставка живописи, графики, скульптуры и архитектуры — Великая Отечественная война. Москва.

1943

Выставка произведений художника-фронтовика К. Г. Дорохова (живопись, рисунок). Москва.

«Героический фронт и тыл». Всесоюзная художественная выставка. Москва.

1946

Всесоюзная художественная выставка. Москва.

Выставка живописи, графики, скульптуры художников-фронтовиков. Москва.

1947

Всесоюзная художественная выставка. Москва.

Весенняя выставка произведений московских живописцев и скульпторов. Москва.

1948

Художественная выставка — Тридцатилетие Советских Вооруженных Сил. Москва.

1949

Выставка произведений московских художников. Москва.

Всесоюзная художественная выставка. Москва.

Выставка картин московских художников. Москва.

Выставка советской живописи и графики. Москва.

1950

Художественная выставка. Москва.
Отчетная выставка группы художников, работавших в Доме творчества Художественного фонда СССР «Гурзуф». Москва.

1951

Всесоюзная художественная выставка. Москва.

1952

Весенняя выставка живописи московских художников. Москва.

1953

Весенняя выставка живописи московских художников. Москва.

1954

Выставка живописи московских художников. Москва.
Всесоюзная художественная выставка. Москва.
Выставка произведений художников-маринистов СССР. Москва.

1955

Вторая всесоюзная выставка произведений художников-маринистов. Москва.

1956

Живопись и графика московских художников. Москва.
Выставка произведений художников А. Гончарова, В. Горяева, К. Дорохова, С. Заславской, заслуженного деятеля искусств РСФСР С. Лебедевой, И. Слонима. Москва.
Выставка «Люди и пейзажи нашей Родины». Москва.

1957

Выставка этюдов московских художников. Москва.
Выставка «Москва социалистическая». Москва.
Всесоюзная художественная выставка, посвященная 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Москва.
Выставка живописи. Москва.

1958

Всесоюзная художественная выставка «40 лет ВЛКСМ». Москва.
Выставка произведений московских художников к 25-летию Северного Военно-Морского флота. Москва.
Выставка живописи. Москва.
Выставка «По дорогам войны». Фронтовые этюды и рисунки, выполненные московскими художниками в дни Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Москва.
Художественная выставка «40 лет Советских Вооруженных Сил». Москва.

1960

Выставка произведений московских художников. Москва.
Художественная выставка «Советская Россия». Москва.

Основная библиография о художнике К. Г. Дорохове

В. К. (В. И. Костин). О портретах Константина Дорохова. — «Искусство», 1937, № 3.

В. Костин. Молодые советские художники. — «Искусство», 1938, № 5, стр. 16, 20.

Л. В. Молодые художники. — «Огонек», 1938, № 12.

Э. Самсонов. К. Г. Дорохов и Д. И. Рубинштейн. — «Творчество», 1938, № 6.

Ф. Богородский. Художники Красного флота. — «Известия», 1938, 5 мая.

Г. Шегаль. Картины молодых художников. — «Советское искусство», 1939, 18 марта.

За дальнейший подъем изобразительного искусства — «Советское искусство», 1939, 4 июля.

Н. Соколова. О живописи молодых. — «Советское искусство», 1940, 18 января.

Премии за лучшие картины молодых художников. — «Советское искусство», 1941, 23 марта.

М. Орлова. Выставка работ молодых художников. — «Юный художник», 1941, № 5.

О. Бескин. О портрете в современной живописи. — «Искусство», 1941, № 3.

Ю. Зайцев. На выставке художника К. Дорохова. — «Красный флот», 1943, 30 мая.

Ю. Жуков. Художник-фронтовик. — «Комсомольская правда», 1943, 2 июня.

П. Соколов-Скаля. Художник на фронте. — «Известия», 1943, 16 июня.

В. Яковлев. На выставке художника Дорохова. — «Правда», 1943, 19 июня.

О. Сопоцинский. Новые работы московских живописцев. — «Вечерняя Москва», 1953, 26 июня.

В. Костин. Константин Гаврилович Дорохов. М., «Советский художник», 1959.

«Живопись». Альбом. (Вступительная статья П. Суздалева). М., «Советский художник», 1959, стр. 19, 142.

О. Бескин. Молодость. — «Творчество», 1964, № 5.

В. Костин. Картины Константина Дорохова. — «Искусство», 1964, № 7.

П. Суздалев. Советское искусство в период Великой Отечественной войны. М., «Советский художник», 1965.

В. Осокин, Б. Рыбченков, А. Чаплин, В. Федоров. Художники земли смоленской. М., «Художник РСФСР», 1967.

С. Яковлев. Смоляне в искусстве. (Очерк — Яркое самобытное дарование). М., «Московский рабочий» 1968.

Ж. Гавриловская. Художник воин. — «Московский художник», 1970 19 марта.

П. Мусьяков. В Севастополе (из дневника редактора флотской газеты). — «Москва», 1958, № 2, стр. 112, 115, 116.

Список иллюстраций

* В тех случаях, когда местонахождение не указано, работа является собственностью вдовы художника.

31. Югославия. Нови-Сад. Партизанский патруль. 1944
Б., к. 43×34

32. Вена. Завалы на улице. 1945
Б., к. 26×20

33. Вена. Ратхауз. 1945
К., м. 26×36

34. Майя Муратова, ковровщица. 1947
Х., м. 64×49

35. Туркмен. 1947
Х., м. 66×50

36. Шахты. Сафоново. 1955
К., м. 18×35
Государственная Третьяковская галерея

37. Старый Кисловодск. 1949
К., м. 25×35

38. Деревня Мазилово. 1955
К., м. 33×44

39. Река Москва. Лужники. 1953
К., м. 18×35

40. Подруги. 1947
Х., м. 145×130
Костромская областная картинная галерея

41. Гурзуф. 1949
К., м. 62×43

42. Сентябрь. Рубка капусты. 1946
Х., м. 100×122

43. Золотые шары. 1946
К., м. 80×60

44. За стиркой. 1947
Х., м. 85×70

45. Георгины и самовар. 1947
Х., м. 73×82

46. Колхозный сторож. 1955
К., м. 51×35

47. С работы. 1947
Х., м. 100×122

48. К. Г. Дорохов — вожатый пионерского отряда № 19 Сокольнического р-на Москвы на параде на Красной площади в годовщину присвоения пионерской организации имени В. И. Ленина. 1925
Фото

49. Последний выпуск Вхутеина. 1930. К. Г. Дорохов — третий справа в нижнем ряду.
Фото

50. Донбасс. Донецк. 1935
Слева направо: художники А. Н. Парамонов, М. В. Маторин, И. Н. Павлов, Н. А. Шевердяев, К. Г. Дорохов, В. И. Соколов.
Фото

51. К. Г. Дорохов и П. Н. Крылов в Самарканде. 1940
Фото

52. Л. В. Сойфертис и К. Г. Дорохов в Севастополе. 1941
Фото

53. Из серии листовок агитбригады Главполитуправления Военно-Морского Флота на Дунайской флотилии. Листовка «Кругом шестнадцать». Художник К. Дорохов, текст С. Болотина. 1943

54. «Малая земля». (В тылу у немцев). 1943
В нижнем ряду сидят слева направо: А. И. Ромм, Л. В. Сойфертис, А. С. Потапов — комбриг 255-й бригады морской пехоты и К. Г. Дорохов
Фото

55. К. Г. Дорохов в мастерской. 1946

Именной указатель

Дорохов Константин Гаврилович
Записки художника

Советский художник. 1974

Москва, 125319, ул. Черняховского, 4а.

Редактор Н. И. Недбаева
Художник А. З. Федотов
Художественный редактор Ю. Л. Глезаров
Технический редактор Ю. С. Кислякова
Корректор И. А. Шорсткина

Сдано в набор 3/VIII 1973 г. Подписано в печать 11/IV 1974 г.
А 04781. Формат 60×90[1]/16. Печ. л. 11,5. Уч.-изд. л. 10,624.
Бумага на текст тип. № 1, на илл. мелованная 120 г.
Тираж 30 000 экз. Изд. № 1-118. Зак. 4225. Цена 1 р. 16 к.

**Московская типография № 5 «Союзполиграфпрома»
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Мало-Московская, 21.**

